ЛЕОНИД САМУТИН

Я БЫЛ ВЛАСОВЦЕМ

Трагедия Русского Освободительного движения

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В отличие от большинства власовцев автор этой книги пошел на сотрудничество с гитлеровцами не ради спасения собственной жизни, а добровольно, из идейных соображений, будучи сознательным врагом советской власти, считая любого противника кровавого сталинского режима своим союзником. Уже весной 1942 года он вступил в Боевую Дружину «Союза Русских Националистов» и быстро поднялся от взводного до капитана Русской Освободительной Армии, начальника Отдела пропаганды штаба Вспомогательных Войск. Но чем чаще он участвовал в антипартизанских операциях, чем больше видел немецких зверств по отношению к мирному населению и советским военнопленным, тем сильнее сомневался: а нужна ли оккупантам Свободная Россия и чем гитлеровское иго лучше сталинского? Тем более что и сам Власов, оказавшийся «генералом без армии», в личных разговорах прямо обвинял Рейх в «гнусном обмане» и предательстве своих русских союзников. «Мы приняли тогда желаемое за действительное и с помощью немцев сами себе создали миф, что можно победить большевизм в России, не побеждая самой России…» – и дорого заплатили за свою ошибку. Разделив с власовцами их страшную судьбу, автор прошел весь крестный путь от немецких «лагерей смерти» до советского ГУЛАГа, чтобы в этой книге рассказать правду о трагедии Русского Освободительного движения и крахе РОА, о великих надеждах и благих намерениях, которыми оказалась вымощена дорога в ад.

- Леонид Андреевич Самутин
- Предисловие
- Глава I
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- Глава II
- 1
- 2
- 3
- 4
-
- Глава III
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-
- Глава IV
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Глава V
- 1
- 2
-
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Леонид Андреевич Самутин
Я был власовцем

Предисловие

Читателя, взявшего в руки эту книгу, нам бы хотелось ознакомить с историей ее создания и судьбой автора, который был непосредственным участником событий, описанных в ней. Воспоминания были написаны им в конце 70-х – начале 80-х теперь уже прошлого века. Очевидно, что об их публикации в неизменном, подлинном виде в то время Л.А. Самутин (1915–1987) не помышлял, и трудно было представить себе, что наступит время, когда его рукописи смогут увидеть свет. К сожалению, сам он совсем немного не дожил до того момента, когда смог бы воочию убедиться, как одна эпоха стремительно начала сменять другую.

В 1991 году под редакцией В.А. Рубина и при его содействии в журнале « *Родина* » (№ 6–7. С. 96–100) был опубликован небольшой отрывок «В норах» из рукописи о Власовском движении, посвященный описанию существования людей в немецком лагере для военнопленных в Сувалках. Теперь же появилась возможность опубликовать эти воспоминания целиком.

При подготовке к настоящему изданию текст рукописи «Я был власовцем» претерпел лишь необходимую редакторскую правку. Было сохранено написание многих слов и названий, подчеркивающих стиль автора. В оригинале эти воспоминания не имели какого-либо конкретного заглавия, поэтому они были названы так с целью помочь им обрести свой круг читателей и облегчить поиск литературы тем, кто заинтересован в разностороннем исследовании истории Власовского движения. Мы надеемся, что публикуемый текст сможет быть в дальнейшем прокомментирован историками, работающими над этой темой.

Внимательный читатель, вероятно, заметит, что с большой тщательностью здесь отобраны и названы имена лишь тех, кому их упоминание никак не смогло бы повредить. Эта осторожность – дань тяжелому жизненному опыту автора, лично пережившего годы террора. Мы сохранили сокращения имен некоторых участников описываемых событий так, как это было сделано у Л.А. Самутина.

Историческая ценность документального материала, описанного в воспоминаниях Л.А. Самутина, несомненна. Совсем недавно появилось серьезное современное исследование по истории Власовского движения (*Александров К.М.* Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944–1945. СПб.: Русско-балтийский информационный центр «Блиц», 2001), в котором приводятся биографические данные об офицерском

составе РОА. К сожалению, Л.А. Самутин в списке перечисленных в книге имен отсутствует. Зато он запечатлен на одной из групповых фотографий (С. 44) третьим слева как «неустановленный офицер РОА». События и лица, описанные в этой книге на основании анализа архивных материалов, в воспоминаниях Л.А. Самутина оживают, появляются интереснейшие подробности и нюансы человеческих характеров и ситуаций.

Можно по-разному относиться к автору и его деятельности, но никто, задавая себе вопрос, как бы он сам повел себя, оказавшись в предельно тяжелых, критических ситуациях, никогда не получит на него ответа. Это не суждено знать ни ему, ни окружающим его людям. Несомненно лишь то, что за строками книги перед нами предстает судьба человека, которому удалось сберечь свою личностную целостность, пройдя через поистине нечеловеческие испытания, и по мере возможности облегчая участь тех, кто оказывался поблизости от него, в поле его деятельности.

Кроме того, познакомившись ближе с личностью автора и его убеждениями, читатель поймет, что в той исторической обстановке (ведь времена не выбирают), которая выпала на его долю, он сделал свой выбор не случайно. Побуждения и помыслы его единомышленников имели право на существование и имеют право на то, чтобы сейчас их приняли во внимание и проанализировали.

Повествование книги производит впечатление, к сожалению, неоконченного рассказа и как бы предполагает продолжение. А что же было дальше, как сложилась дальнейшая судьба автора? И это тоже нуждается в пояснении.

А дальше, опять же в канве судеб очень многих, таких же, как он, «жертв» Ялтинского соглашения от 11 февраля 1945 г. *(Толстой Н.Д.* Жертвы Ялты. М.: Русский путь, 1996), в 1946 году Л.А. Самутин был выдан английскими властями Советскому Союзу. Он был судим, но не расстрелян, так как не был замешан ни в каких карательных операциях. Десять лет воркутинских лагерей были продолжением биографии этого человека. Затем освобождение, семья… Жизнь, казалось бы, начала входить в обычное русло. Но ему очень многое хотелось сказать из того, что он носил в себе. Этому способствовал ярко выраженный дар публициста-аналитика, не дававший ему возможности сидеть сложа руки. И вот результатом этой публицистической деятельности стала эта книга.

Подлинник рукописи Л.А. Самутина в том виде, в каком она вышла из-под его пера, сохранился в домашнем архиве и

предлагается вниманию читателей в настоящем издании.

Остается лишь добавить, что автор этой книги, по-истине незаурядный человек, до конца своих дней сохранял обширнейший круг общения. Среди этих людей были и его старые друзья по лагерю, бывшие воркутяне, которые знали и помнили его историю, и молодые люди, многих из которых он готовил к поступлению в вузы и которым он запомнился как талантливый преподаватель. Благодаря краткой публикации в журнале *«Родина»,* к сожалению, уже после смерти Л.А. Самутина, нашелся и отозвался человек, деливший с ним тяготы немецкого плена. Хранит добрую память о нем и его друг из Дании, потерявший его след и думавший, что он погиб, выданный советским властям в 1946 году. Мы надеемся, что для всех, кто помнит Л.А. Самутина, будет чрезвычайно важно увидеть эту книгу вышедшей в свет.

М.Л. Кузьмина

Глава I

1

Пароход качнуло с боку на бок, через малое время качнуло еще, посильней.

«Выходим в озеро», – подумалось мне.

Я выглянул в окно каюты – низкие речные берега, заросшие кустами, уже отодвинулись и уплывали назад. Скоро, значит, будем проходить мимо острова, надо подняться на палубу. Светило солнце, на небе – ни облачка, было раннее утро, но пассажиры уже все поднялись, стоянка у пристани с шумом, криками и командами, с высадкой и посадкой новых пассажиров взбулгачили всех на пароходе.

Я накинул плащ и по гремящим металлическим ступеням крутого трапа поднялся на палубу. Сразу же в лицо ударил плотный ветер, чуть не сдувший за борт шляпу с головы. Вовремя схватившись за поля, я успел удержать ее.

– Дольник дует! – послышалось из рубки.

Я оглянулся. За штурвалом стоял старый матрос, которого я приметил еще накануне, когда он веревочной шваброй мыл верхнюю палубу, перегоняя пассажиров с места на место. Все остальные матросы были мальчишки и как бы на одно лицо, только этот, со сморщенной, как печеное яблоко, физиономией, маленький, сухонький, резко отличался от всей команды. Сегодня он стоял за штурвалом в рубке.

«Дольник» – это ветер, дующий вдоль озера. Он разводит самую большую волну, разогнав и раскачав ее на шестидесятикилометровой длине озера. Упругие, шипящие валы катились навстречу пароходу и били в нос с правого борта. От каждого удара встречной волны пароход вздрагивал, толчком как бы откидывался назад, а в следующие секунды переваливался носом вперед и, заваливаясь на правый борт, качнувшись, начинал взбираться на следующий вал.

От ударов волн озерная вода сверкающими фонтанами взлетала перед носом парохода и, подхваченная ветром, обрушивалась на нижнюю палубу, где на якорном кабестане, облитом водой, вспыхивали солнечные блики.

Остров был уже виден. Пароход заворачивал вправо, и остров быстро приближался. Бортовая качка постепенно переходила в килевую, пароход перестал валиться с боку на бок, на палубе становилось спокойнее, только ветер все уплотнялся и крепчал по мере того, как впереди открывалась озерная гладь до горизонта.

Все, кто решил остаться на палубе, попрятались за рубку, и оттуда доносились смех и девичьи вскрикивания. Большинство

пассажиров были молодые парни и девицы.

Становилось видно уже, как волны разбиваются о валуны, из которых сложен остров, и там поминутно всплескивают вверх такие же фонтаны брызг, как и у нас, на носу парохода. Отчетливо разглядывались огромные кирпичные глыбы, оставшиеся от взорванных монастырских построек, уцелевшая колокольня уныло стояла над водой. Справа от нее одноэтажное кирпичное же здание бывшей монастырской гостиницы имело еще вполне жилой вид. Две деревянные лодки на цепях прыгали и метались по волнам с подветренной стороны острова. Там кто-то жил.

Вся история увядания жизни на этом клочке земли отдельными фазами четко зарубилась в моей памяти. Моя собственная память об островке и монастыре на нем равнялась памяти о себе самом. Самые ранние впечатления бытия связаны у меня с видом каменно-валунных берегов, волн, разбивающихся о них, и монастырских строений над ними. Этот островок я помнил, как помнил себя.

Тогда монастырь еще был цел. Белые каменные стены двух церквей, из которых одна была двухэтажная – из-за недостатка площади на острове, – двухэтажного же здания монашеского общежития и монастырской гостиницы издали, казалось, поднимались прямо из воды озера. В тихую погоду это было удивительное, прямо сказочное зрелище – белые стены, встающие из вод. Линия горизонта скрывала низкие каменные берега, а колокольни и верхние этажи строений, казалось, парили над озером.

Монахов уже не было на моей памяти. Вместо них там обитали малолетние преступники, которых поместили тут в начале двадцатых годов. Это они подожгли свою островную тюрьму темной осенней ночью 1927 года, чтобы в суматохе бежать с острова, и с того времени на острове стояли только голые стены с пустыми окнами и провалившимися крышами. Но здание гостиницы, в котором до пожара жила охрана, отстояли тогда от огня, и оно долго еще оставалось цело. Древние строения возводились с запасом прочности, во много раз превышавшим необходимость, и кирпичные стены той гостиницы были около полутора аршин толщиной. Моя мать рассказывала, что ее, в возрасте лет около восьми, родители возили в монастырь по обету, данному ими во время ее тяжелой болезни. Она помнила, как лежала на подоконнике гостиничного окна, вся помещаясь поперек подоконника, и подставляла лицо брызгам, долетавшим до окна от разбивавшихся волн.

В середине тридцатых, в ту недобрую эпоху наплевательства

и невежественного, дикарского презрения и ненависти ко всему, что было связано с нашей историей, какому-то местному руководителю пришла в голову мыслишка – использовать монастырский кирпич для строительства силосных башен. Мода тогда была такая – строить в молодых еще колхозах силосные башни. Недолго думая, взорвали двухэтажную церковь и монашеское общежитие. Высокую древнюю колокольню пощадили – уж очень хороший ориентир для плавающих по озеру судов. Гостиница еще была пригодна для жилья – и ту оставили.

Но вот досада – ни одного кирпичика не удалось извлечь для силосных башен. Развалились вековые стены на огромные глыбы и ничего, ни единой крошки от них отколупнуть не смогли. Так и остались лежать кирпичные замшелые громады на островных волунах.

Местные жители привыкли, не обращают внимания, но свежего человека поражает этот мрачный вид запустения, заброшенности, разорения, хорошо проглядывающийся с проходящих пароходов.

Держась за поручни, я стоял, смотрел и вспоминал. Грустновато было смотреть на все это.

Сзади послышалось цоканье каблучков по железному трапу. Кто-то поднимался наверх, очевидно, женщина.

– Ой, что это? – послышалось восклицание за моей спиной. Я оглянулся. Средних лет женщина, явно не местного вида, остановилась на палубе у самого трапа. Поднявшись наверх, увидев, очевидно, неожиданно, остров среди взволнованного озера, эти тоскливые руины на нем, она замерла, пораженная необычным зрелищем. Судя по всему, это была какая-нибудь московская туристка, плывшая в Кириллов, побывать в тамошнем знаменитом монастыре, входившем тогда в моду у столичных почитателей достопримечательностей родной земли.

– Что это? – продолжала она спрашивать, глядя на остров и не обращаясь, собственно, ни к кому.

Я было собрался ответить, подумав даже сверкнуть своей осведомленностью перед столичной дамочкой, но не успел.

– Маяк «Спас на Камне» – послышалось из рубки. За меня ответил старый рулевой. Тут только я заметил, что он хоть и сморщенный и беззубый, но не такой уж и старый, моих лет, не больше. А мне тогда еще далеко было до пятидесяти…

– Маяк? Почему маяк? – удивившись, в свою очередь, спросил я.

– Как почему? Вон, на церкве-то, вишь, фонарь уставлен. Кажин вечер зажигают его. На острову-то фонарщик живет, с бабой и с сыном, – довел до моего сведения наш словоохотливый

собеседник из рубки.

Действительно, на уцелевшей колокольне, на пустой звоннице, где раньше висели колокола, виднелись какие-то деревянные конструкции с укрепленной на них некоей аппаратурой, за дальностью плохо различимой.

Что колокольня древнего монастыря приспособлена для маяка – это меня не удивило, даже как-то порадовало вроде. Хоть нашлось такое полезное применение, и то слава богу! Меня поразило другое, и эта новая мысль завладела мною совершенно, так что я уж и не вслушивался больше в вопросы московской любознательницы, продолжавшей выспрашивать рулевого о том, что здесь было раньше и почему здесь все так разрушено, разве здесь тоже бомбили?

Сколько раз слышал я такие же вопросы до этой встречи? Слышал и потом. Обязательно, как увидят какие-нибудь разрушения, так сразу и свяжут это с войной, как будто кроме немцев никаких других варваров и не было на земле.

Ах, сколько у нас их было собственных, доморощенных, сколько они без всякой войны и задолго еще до нее понаваляли, повыдергали с корнем, сровняли с землей, пустили прахом исконно русского, древнего, созданного и чтившегося дедами и прадедами нашими, такого, без чего и нашей страны не было бы, да и нас самих, теперешних нас, может быть, тоже не было бы.

Вот и тут. Незнание столичной залетной птички можно и понять, и извинить. Но и для местного старожила, не один десяток лет проплававшего по этому озеру, знающего его, как свою избу («к острову ближе нельзя плыть, каменьев много», – объяснил он своей слушательнице) – от Спасо-Преображенской, Валавинской пустыни на Каменном Острове в памяти не осталось ничего. Для него это место – просто «Маяк «Спас на Камне», ничего больше.

Не в этой ли неосведомленности нашей относительно собственной земли, собственного прошлого нашего и лежат корни иного наплевательства на старину? Так ли уж редко приходится встречаться с тем, как будто это прошлое и не живет в сознании нашем, вроде бы его и не было никогда, этого «прошлого»? И получается, что в ином случае живем мы, как мухи, только нынешним днем, только сиюминутным раздражением, тем только, что видят наши глаза вот сейчас, в это мгновение.

В прошлом же, в ушедшем, так много не просто интересного, но поучительного, наставительного, и отбрасывание его со всеми его достижениями и потерями, взлетами и падениями, удачами и ошибками – отбрасывание как устаревшего и ненужного – есть глубокая ошибка для современников и тяжелый грех перед

грядущими, перед теми, кто будет жить после нас.

Я молча глядел на удалявшийся остров.

Полных семь веков писанной истории он насчитывает – и все они преданы забвению по нашей нерадивости, по нашей лености, неразумию и легкомыслию.

Чудилось мне, как по таким же вот крутым и беспощадным волнам, ища спасения, пытались добраться до каменного островка в бурный и несчастливый день летом 1260 года челны Белозерского удельного князя Глеба Васильковича, как чудом спасшийся князь с остатками уцелевшей дружины на этих бесприютных берегах вознес благодарные молитвы во спасение и дал обет основать на острове монастырь и в том же году его исполнил. Как этот монастырь, только на 113 лет моложе Москвы, явился первым православным монастырем на Русском Севере, на еще только осваиваемой, только колонизуемой окраине страны. Как именно из этого монастыря монахи уходили дальше на север, запад и восток, чтобы основывать новые и новые пустыни и монастыри, игравшие в те времена роль отнюдь не центров мракобесия и темноты, как принято у нас считать, а опорных пунктов колонизации и освоения диких и необжитых окраин земли Русской.

Это верно, что нельзя жить прошлым. Но так же верно и то, что нельзя жить без прошлого. Кто-то умный сказал, что народ без прошлого есть народ без будущего.

После той поездки прошло еще десять лет. Снова с неодолимой силой потянуло меня в родные края. И вот опять плыву я по озеру. На этот раз – на теплоходе. Жизнь идет вперед быстро и беспощадно отменяет одно старое за другим. Пароходов уже нет.

И старого матроса нет, в команде – одни мальчишки, длинноволосые, длинноногие, гоняются по палубам друг за другом, балуются, не слушаются.

Опять плывем мы мимо острова. На валунах все так же лежат громадные и несуразные кирпичные глыбы. Все так же уныло поднимается над водой древняя колокольня. Только нет на ней никакого маяка. Он не нужен больше. Все суда снабжены локаторами, радиопередатчиками и приемниками и плывут уверенно днем и ночью, в темень и туман.

Нет уж и старого фонарщика, умер старик от рака. Старуха его сплыла на берег, а сын, отслужив в армии, не вернулся домой, нашел свою судьбу в других местах.

Нет больше и их жилища – старая монастырская гостиница, где они занимали две большие комнаты, сожжена давно. Теперь и от нее остались только одни кирпичные стены с пустыми

оконными проемами и проваленной крышей. Ждут эти стены, может быть, своих взрывателей.

Только волны все так же бьются о береговые валуны, и все так же взлетают вверх фонтаны брызг и клочья пены.

На теплоходе, как и прежде, большинство пассажиров – молодежь. Прикидываюсь незнайкой. Повторяю вопросы той давней московской путешественницы: что это такое? Почему развалины? Когда и почему сгорел этот кирпичный дом?

Никто мне не ответил, никто ничего не знает. А ведь, кажется, память народная – самая прочная и самая точная из всех памятей! Как же так?

Девочки смущенно подергивали плечиками и шептали: «Не знаем», «Не слышали»… Парни гыгыкали и отходили прочь.

Семь веков истории – и никакой памяти!

Что же тогда стоит одна человеческая жизнь? Какой памяти она достойна? Да никакой, конечно! «Все суета сует и всяческая суета!»

Да нет, нет! Человеческий опыт, каким бы он ни был, не должен пропадать для людей! Одна жизнь учит людей, как надо жить, другая может показать, как не надо… Тот и другой опыт – все одинаково нужны людям, и нельзя уносить с собой на дно небытия все, что накопил за долгие годы непростой, иногда мучительно трудной судьбы.

С тех поездок, тех плаваний и не дает мне покоя мысль о необходимости рассказать о своей жизни тем, кому захочется послушать такой рассказ. Игрой судьбы попал я в число людей, называемых у нас, на Руси, «бывалыми». Вот всю эту «бывальщину» я чувствую не вправе похоронить вместе с собой, должен оставить что-то и людям.

2

Как же это непросто – начать рассказывать свою жизнь. С чего начать? Почему с «того», а не с «этого»?

Вопросами такого рода я долго терзался, не решаясь взяться за перо, пока наконец мне не стало ясно, что за отправной пункт рассказа надо взять тот день, час, минуту, когда обозначилось, что жизнь переломилась. Была жизнь «до»… и стала жизнь – «после»…

Но у меня таких переломов в жизни набралось немало, чуть не полдюжины – четких, резких поворотов, после которых все настолько круто менялось, что иной раз приходилось и жизнь начинать совершенно заново, как бы вновь на свет народившись, устраивать все с полного нуля.

Какой же из таких переломных моментов взять за отправной пункт рассказа?

Ну, конечно же, самый первый, тот, который и был, собственно, крушением жизни, от которого и пошло все, в том числе и остальные крушения и повороты.

Такой вот переломный день я отчетливо и ясно вижу в своей жизни, день, оказавшийся судьбоносным, который как ножом отрезал прежнюю жизнь и заставил меня жить совсем по-другому, так и не дав вернуться ни в прежнюю обстановку, ни к прежним занятиям, ни к прежним людям.

Совершенно очевидно, что для людей моего поколения это не могло не быть связанным с войной, и естественно было бы считать таким днем это треклятое воскресенье 22 июня 1941 года.

Но нет. Таким окаянным днем оказалась суббота 14 июня того приснопамятного года. За восемь дней до начала нашей войны.

Южный Урал, Башкирия – благословенная страна! Сколько там света, тепла, воздуха! А природа – степи, леса, горы – на любой вкус! И черноземные земли! И медоносные луга, и липовые перелески! За всю жизнь не встречал я такого благодатного края, как Южный Урал!

Начало того лета было там богато солнечными днями, синим небом, буйной радостью возликовавшей природы.

И то утро, в июне 14-го числа, было таким ликующим, будившим радость и неопределенные, но счастливые надежды. С неба на наши головы сыпалось серебро трелей жаворонков, десятками висевших над полем. Я ходил по этому полю от одной группы бойцов к другой, проверяя, как идут занятия.

За три недели до этого меня назначили начальником

стрелково-минометной роты, прислали ко мне трех молоденьких лейтенантиков, только что, досрочно, в мае, выпущенных из стрелково-пехотных училищ, старшину, несколько младших командиров и человек 120 красноармейцев из так называемого приписного состава. В мае к нам в полк, когда мы уже были в лагерях у станции Юматово, повалили валом эти приписники, т. е. запасные, приписанные к нашему полку. Я же в тот год решил перехитрить судьбу, а получилось, что она меня перехитрила. Вот как все это было.

3

За год до того, в начале июля 1940 года, меня внезапно вызвали в военкомат и вручили «командировочное предписание» – бумагу, из которой следовало, что мне надлежит выехать не позже 5-го числа сего месяца в город Магнитогорск для прохождения трехмесячных курсов усовершенствования командного состава запаса. Срок явки… Место явки… Точка. Обсуждению не подлежит. Предписание предъявить администрации своего учреждения для оформления соответствующего приказа. Я работал в Уфимском педагогическом институте, читал студентам лекции по астрономии, геофизике и потихоньку от администрации проталкивал небольшой собственный курс методики преподавания астрономии в средней школе, поскольку учебным планом педагогических институтов подобная наука не предусматривалась. Студентам же астрономия и читалась для того, чтобы они могли ее преподавать потом в средней школе. Работу свою я очень любил и делал ее с наслаждением.

В июле у меня должны были быть студенты-заочники, в августе – сентябре – отпуск.

Трехмесячные курсы превратились в пятимесячные, и только в начале декабря я возвратился домой. На следующее лето меня опять ожидало то же самое – нужно будет три месяца провести на лагерных сборах. Тут-то я и придумал «ход конем».

В апреле у меня кончалась годовая лекционная нагрузка учебных часов, в мае и июне занятий нет, останутся одни экзамены. Дай-ка, думаю, схожу в военкомат, спрошу, нельзя ли мне лагерный сбор, которого так и так не миновать, отбыть в эти три месяца – с апреля по июнь, чтобы у меня летний отпуск опять не пропал.

Там, в военкомате, сначала удивились такой необычной просьбе – человек сам просится на лагерный сбор. Им приходится выслушивать просьбы совсем противоположного рода. Поэтому обрадовались и сразу же выписали мне командировочное предписание в 238-й стрелковый полк здесь же, в нашем городе, на прохождение трехмесячного учебного командирского сбора.

В институте я быстро закруглил курс читавшихся лекций, чтобы не оказалось незаконченных хвостов, сказал в дирекции, как надо будет действовать, чтобы потом отозвать меня на несколько дней для приема экзаменов, и 1 апреля утром явился в полк.

Еще накануне на интендантском складе получил

обмундирование – гимнастерку, штаны, пилотку, белье, бушлат (не шинель), ремни (без портупеи), солдатские ботинки с обмотками (сапог не было), наволочку для подушки и наволочку матрасную, все это свалил в эту наволочку. Получился весьма значительный мешок по весу и по размерам, и навалив его на свои, молодые тогда плечи, понес через весь город домой.

В те неустроенные времена три такси бегало по городу, и поймать их было практически невозможно, линий городского транспорта в мою сторону проложено не было, и шагал я с мешком на спине, как базарный дед, удивляя всех многочисленных знакомых, студентов и учеников, попадавшихся навстречу.

Рад я был такому повороту, сочиненному самим, собственной предусмотрительностью, безмерно! И как же было не радоваться – летом всех моих прошлогодних товарищей, с которыми сдружился на прошлогодних курсах, потащат на эти сборы, а я уже к тому времени отбуду свою повинность, буду дома, отзанимаюсь с заочниками и пойду себе в отпуск! Ай, как славно!

Да-а… Человек предполагает, а располагает кто-то совсем другой! Не так-то оно все обернулось потом…

Нас собралась группа, человек десять, таких же, как я, младших лейтенантов запаса, был один лейтенант, еще один техник-лейтенант, инженер-механик по гражданской специальности. Потом он все подсовывал мне, как бы нечаянно, задачки на составление квадратных уравнений и все надеялся, что не сделаю.

Был еще преподаватель физики Сатаев, татарин, красавец парень, и жена у него была писаная красавица, потом бухгалтер Минаев, еще один бухгалтер, плановик-экономист, и радиоинженер Саша Марущак. Почему радиоинженера запихали в пехоту – ума не приложу. Всех нас выдернули из разных «мягких кресел», обрядили в ботинки с обмотками и держали одной компактной группой, немного занимались нами, а больше мы были предоставлены самим себе и неплохо проводили время.

Чаще всего использовали нас дежурными по гарнизону или по полку взамен кадровых командиров, которым такие дежурства, конечно, были ни к чему.

Помню, в одно такое дежурство ночью, уж под утро, пошел я проверить состояние дел на кухне. Оттуда залпами доносились раскаты гомерического хохота во много глоток. Никто не заметил, как я вошел, дежурные кухонного наряда окружали стол, на котором стояло ведро с водой, примерно наполовину большой каравай белого хлеба – тогда хлеб пекли еще караваями. От каравая была отрезана горбушка, и ее аппетитно уплетал боец

Бикчентаев, башкир, из дежурного наряда. Для окружающих это зрелище и служило предметом такого бурного веселья.

Когда улеглось смущение и маленькая заминка, вызванная моим неожиданным появлением, выяснилась картина: Бикчентаев очень любит белый хлеб. Когда привезли хлеб и ребята его сгружали, Бикчентаев возьми, да и скажи:

– Съел бы целый каравай, если бы дали!

Это услышал дежурный повар и подзадорил:

– А два не съел бы?

– Съел бы.

– Врешь?

– Не вру!

– Ну, жри, прорва ненасытная, жри, даю два каравая. Но-о не съе-ешь, смотри, целый день до конца дежурства один будешь всю картошку чистить!

– Съем! – сказал Бикчентаев. – Только ведро воды поставьте!

Вот это и было то, что так веселило моих ребят. С первым караваем уже было покончено, начат был второй.

Хоть и самого меня душил смех, но виду подать нельзя было, пришлось напустить строгость – да ведь и до заворота кишок могла довести такая забава.

– Отставить, – говорю, – Бикчентаев, довольно.

Похоже, тот и сам уже был не рад, что затеял такой спор, и остановился охотно.

В таких вот пустяках и проходила наша «служба».

4

В начале мая полк выехал в летний лагерь на станцию Юматово. Нас опять разместили всех вместе, в одной десятиместной палатке. Первым получил у нас постоянное назначение техник-лейтенант. Ему, инженеру-механику, быстро нашлось прямое дело по ремонту оружия и всякой техники.

В середине мая вдруг стали прибывать большими группами новые люди, пополнение. Это оказались запасные приписного состава. От них мы узнали, что призвано этих запасных 15 возрастов, всем объявлено, что рядовой состав призывается для прохождения 45-дневных сборов.

Среди этих людей были такие, что служили много лет тому назад, были и совсем не служившие в армии. Вот с ними-то нам и предстояло заниматься.

Как-то уже ближе к концу мая меня вызвали в штаб полка, к начальнику штаба. Тот объявил мне, что приказом по полку я назначаюсь начальником «стрелково-минометного сбора», мне надлежит организовать обучение стрелковому и минометному делу приписных контингентов, в помощь мне будут выделены командиры и младший комсостав.

– Приказ понятен? Выполняйте! Кругом – марш! Действуйте!

– Разрешите обратиться с вопросом, товарищ капитан?

– Слушаю.

– Мне непонятно, где брать людей, кто будут эти командиры, как организовать занятия, чему учить. Как учить…

Капитан багровеет.

– Ах, тебе непонятно… (переходит на «ты»), – кричит, – как учить, чему учить… Ты преподаватель института, ты должен нам подсказывать, как учить, это мы грамоте в лаптях учились, тебе страна дала высшее образование… – и понес, и понес!

Выскочил я от начальника штаба, что называется, в мыле. Голова кругом идет, с чего начинать, правда не знаю. По молодой неопытности сунулся туда-сюда, никто ничего не знает, ничего никто не слышал, дело с места не двигается… Ни людей, ни обещанных командиров. Хоть стреляйся. Совсем я приуныл.

Через два дня утром слышу, меня спрашивают.

Выхожу из палатки – какой-то старшина стоит, за ним, на линейке – взвод приписных стоит, построенный. Старшина докладывает:

– Товарищ начальник стрелково-минометного сбора! Взвод для прохождения стрелково-минометного сбора прибыл. Старшина Савельев!

Тут еще два взвода подошли, немного погодя два молоденьких лейтенанта подкатились, тоже докладывают. Все образовалось само собой! Старшина сказал, что наши палатки, освобожденные, находятся на соседней линейке, пошли их занимать, располагаться. Все оказалось не так мрачно. Похоже, не зря меня распушил капитан, начальник штаба. Нечего было раньше времени нюни распускать.

С людьми, размещением дело уладилось.

Со своими помощниками, молоденькими лейтенантами, обговорил порядок занятий. К концу первого дня их уж оказалось три лейтенанта, как и обещал начштаба. У них военных-то знаний побольше моего, они нормальные училища только что пооканчивали. Я в душе немного робел перед ними, а они, видно, по молодости, по неопытности, робели передо мной. Обошлось без трения, распределил парней по взводам, строевую подготовку предложил каждому вести со своим взводом, а специальные виды – стрелковое, пулеметное и минометное дело – предложил разобрать по желанию. Все уладилось как нельзя лучше. Никто нас не тормошил, не дергал. Утром мы уходили строем с песнями на учебное поле, занимались по своему расписанию и дело спокойно двигалось уже к концу моего трехмесячного срока. Оставалось уже всего две недели. На душе – ликование! И вдруг…

5

Я хожу по полю от взвода к взводу, от отделения к отделению, где послушаю, помолчу, где вставлю для порядка пару замечаний, один-другой вопрос, все это для проформы, конечно. Ребята у меня хорошие, приписники – народ пожилой уж, степенный, послушный, дисциплинированный, к службе относятся как к работе, неприятных хлопот с ними нет.

И вот, слышу, кличут меня с того конца поля, где дорога к лагерю. Смотрю – бежит ко мне кто-то. Екнуло у меня сердце. Какое-то неосознанное предчувствие подтолкнуло изнутри.

Подбегает красноармеец, посыльный из штаба.

– Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться!

– Да, слушаю.

– По распоряжению командира полка командиры батальонов и начальники сборов немедленно вызываются в штаб полка.

– Что случилось? В чем дело?

– Не знаю. Не могу знать. Старшего лейтенанта Медведева не скажете, где найти?

– Вон там его люди, ищи там…

Красноармеец убежал.

К удовольствию своих ребят, оставляю их загорать на поле, скорым шагом двигаю к штабу. Там собираются кучками вызванные командиры. Беспокойства не вижу ни у кого, а вчера ведь только было очередное опровержение ТАСС, разговорчики идут всякие, неспокойно становится вокруг… И призыв этих приписных в таком большом количестве, и досрочный, на два месяца раньше срока, выпуск лейтенантов из военных училищ – все, наверное, неспроста, что-то готовится… Что-то назревает, тревожно становится на душе, когда все сопоставишь.

На крылечко штаба вышли командир полка, комиссар, начальник штаба. Мы повытянулись, сделали под козырьки.

– Ну, все здесь? – спросил майор, командир полка. – Вот что, товарищи командиры. Получен приказ из Округа немедленно нашей дивизии сниматься с лагеря и отправляться на большие корпусные, а возможно, на армейские маневры. Сейчас же начинайте подготовку к погрузке в эшелоны. Сегодня – четырнадцатое, грузиться будем шестнадцатого с утра. Людей с занятий снимайте, кормите обедом, а после обеда приступайте к свертыванию всего хозяйства. Палатки, койки, матрасы – все берем с собой. Начальникам сборов своих людей распустить по подразделениям. Выполняйте.

Капитан Никитин, командир второго батальона, сунулся с

вопросом, куда хоть поедем, да тут же и прикусил язык. Майор не рассердился, а только, уходя с крыльца, махнул рукой – и в дивизии никто не знает.

Вот так и случился этот, на первый взгляд, совсем незначительный, а потом оказалось, самый главный перелом в моей жизни. На этом кончилась старая жизнь, которая складывалась так хорошо и ладно. Неделю назад мне исполнилось 26 лет, получил я отпуск домой, много было гостей, друзья, родные, было так весело, радостно, впереди все было ясно, и вот – обрезало. Никогда больше не суждено мне было вернуться в ту жизнь, в которой я прожил свои первые 26 лет, ни к людям из той жизни.

Дальше – все было другое: другая жизнь, точнее – жизни, другие люди…

6

Наш эшелон из двухосных теплушек – 40 человек, 8 лошадей – стоит на втором пути станции Юматово. Мы уже погрузились со всем нашим скарбом. Последнюю ночь спали под открытым небом, утром свернули свои постели, и машины увезли на станцию наше последнее имущество. Последний обед в лагерной столовой – и погрузка!

Паровоз не прицеплен. Это весьма загадочное и интригующее обстоятельство. Оттого, с какой стороны прицепят паровоз, зависит, против кого нас двинут.

Если паровоз прицепят к тому концу поезда, который в сторону Уфы, – значит, поедем на восток, с Японией будем счеты сводить. Мы и ждем этого. Все привыкли к тому, что в тридцатые годы действительную службу наши призывники проходили всегда на Дальнем Востоке, воинские поезда через Уфу обычно шли на восток, думалось, и нас двинут туда же.

С другой стороны, эта идущая уже второй год война в Европе, эти странные опровержения ТАСС одно за другим заставляли предполагать и иное… Из всех теплушек через поперечины, загораживающие дверные проемы, высовывались сотни голов, поворачивавшихся то в одну, то в другую сторону эшелона. В самом деле, к какому же концу прицепят паровоз?

Вдоль поезда идет командир дивизии генерал-майор Н.И. Бирюков. Его сопровождают несколько командиров. Он разговаривает с толстым капитаном – комендантом нашего эшелона. Генерал озабочен, капитан что-то докладывает ему. Вся группа остановилась у соседнего вагона, видно хорошо, а слов уловить нельзя. Жарко, душно. Генерал снимает фуражку, вытирает платком бритую голову. Замечаю, что у него большие, оттопыренные уши. Впрочем, у всех бритоголовых уши кажутся большими и оттопыренными. Генерал и его свита поглядывают в ту сторону поезда, где станция Чишмы, до нас быстро доходит смысл этих поглядываний.

«Шишма гуляем, братцы», – кто-то немедленно прокомментировал эту догадку. – На запад поедем.

И тут же по всем вагонам послышалось:

– Подают! Подают! Паровоз подают!

Число голов в дверных проемах во всех вагонах сразу увеличилось, все повернулись в одну сторону. К западному концу эшелона медленно подкатывался паровоз.

Все прояснилось. Значит – едем на запад. Другого направления тут нет. Теперь только еще не ясно, по которой ветке

Самаро-Златоустовской дороги нас повезут – по Сызранской или по Ульяновской? Ну, этого уж ждать недолго. До Чишмов всего несколько километров, а там дорога и разделяется. Скоро узнаем.

Генерал сказал что-то коменданту и направился с сопровождавшими командирами к вокзалу, комендант откозырял, повернулся налево кругом и весьма резво для своей грузности потрусил к середине поезда. Выбежав на шпалы соседнего, свободного пути он зычно скомандовал:

– По-о вагона-ам!

Вдоль состава послышались команды старших вагонов:

– По вагонам! По вагонам!..

Перепрыгивая через рельсы, спотыкаясь о шпалы, бежали со стороны вокзального перрона бойцы группами и в одиночку. Из вагонов протягивались им руки навстречу и втягивали их внутрь. Иные, неловко взбрыкнув ногами, срывались и повисали на руках, смешно, по-тараканьи болтая в воздухе ногами, обутыми в солдатские ботинки с обмотками. Под громкий смех, подхватывая за штаны, где мягкое место, их втаскивали в вагоны.

Паровоз осторожно подкатился к составу, легонько толкнул его, вагоны качнулись один за другим и успокоились. Раздалось два коротких гудка, послышалось шипение под вагонами – опробовала тормоза поездная бригада. Вот и все готово. Слышно было, как попыхивал паровоз.

Бег времени ускорился как-то. Или секунды и минуты уплотнились, сократились и большее число их уложилось в малый отрезок времени? Почему так быстро проскочили они от прицепки паровоза до момента отправления?

Вот комендант эшелона рысью подбегает к генералу, со своей свитой стоящему на перроне. По уставу действует, старый служака, видать!

Не добежав шагов пятнадцать, переходит с рыси на печатный шаг, левая рука пришита к боку, правая под козырек – докладывает генералу. Очевидно, о готовности эшелона к следованию. Генерал козыряет в ответ, слушает, затем что-то говорит – нам не слышно, конечно, видно только, улыбнулся, протянул руку капитану. Тот обрадованно сунулся вперед, подержался за генеральскую ладонь, два шага назад, кругом – марш, опять рысью, теперь к штабному вагону. На полдороге его встречает железнодорожный поездной кондуктор, они обменялись на ходу короткими словами, и вот уже заливается трель кондукторского свистка. Глядим вперед – рука выходного семафора поднята, путь нам открыт, путь в неведомое и тревожное. Что ждет нас там, на западе?

На сердце тяжело – не от тревоги ожидания, а от тревоги за

домашних. Они остались в полной неопределенности и неизвестности. Что случилось с нами? Узнают, что нас увезли. Куда? Зачем? В открытке, которую успел послать накануне, сообщил только об отъезде, больше ничего написать нельзя было. Неспокойно на душе за то беспокойство, которое достанется теперь на долю всех домашних.

А мы уже едем!

7

Еще видим уходящие назад склоны Юматовского плоскогорья, где был наш лагерь, еще проглядываются слева пойма и долина Демы, аксаковской реки, но уже открываются по обе стороны бескрайние, до горизонта, башкирские степи.

Чишмы проследовали без остановки и сразу за ними повернули на Бугульму. Значит, поедем по ульяновской ветке.

Эта дорога так знакома, что, кажется, каждый столб на ней помню. В течение пяти лет каждый год 3–4 раза ездил по этой дороге, пока учился в Казани. Разочарованный, отвалился я от окна и вытянулся на своем месте на верхних нарах. Мало того, что эта дорога так знакома, она еще и очень неинтересна, особенно от Бугульмы до Мелекеса. Нескончаемая, плоская, голая равнина, очень редкие, совершенно без зелени, без воды, без церквей, без всего, что красит ландшафт, серые, приземистые деревни – не на чем глазу остановиться.

В вагоне еще не стихает возбуждение, вызванное волнениями последних часов. Многие ждали родных, вызванных телеграммами, но ни к кому никто не приехал. Пригородного поездного сообщения тогда не было, как сейчас. Единственный местный поезд придет только вечером, и нас уже не застанут, кто и соберется приехать.

Слышен смех, русская, татарская и башкирская речь мешаются, кое-кто начинает раскрывать свои котомки с остатками домашней снеди, привезенной в лагерь, видимо, еще раньше. У меня ничего с собой нет, даже домашних вещей, которые остались бы у меня хоть как сувениры, память по дому. Впрочем, три предмета есть – бритва, кисточка и ложка.

Меня пронизывает мысль, которая за суматохой двух последних дней просто не приходила в голову. За всей этой возней, пустой и лихорадочной, некогда было спокойно подумать, минуты свободной не было, сейчас вот все улеглось и в голове стал налаживаться некоторый порядок. Как же так – до конца срока моего (нашего!) лагерного сбора осталось две недели, а нас везут на какие-то армейские маневры. Сколько времени они продлятся? Уж, наверное, не две недели. Вместе со всеми приготовлениями, приездами, отъездами – никак не меньше месяца. Наверное, даже больше. Похоже, что это дело на все лето! А уж во время этих самых маневров, конечно, никто нас домой отпускать не будет по окончании нашего срока. Это значит, что и это лето опять пропало, снова отпуска не будет!

Как сообразилось это все, так даже и похолодело как-то

внутри. Ну, думаю, перехитрил я судьбу! Кто кого тут перехитрил – это еще погадать надо…

Вот таким внутренним состоянием и началась для меня та дорога.

Едва проехали Чишмы, как стало темнее вроде на улице. Ребята выглядывают в двери, смотрят вперед, покачивают головами. Выглянул и я в свое окошко. Солнце скрываться начало в туманную мглу, а на западе по всему горизонту – черным-черно! В открытые настежь вагонные двери врывается встречный ветер, но он горяч и сух и не освежает нисколько. Духота, несмотря на движение, не уменьшается. Увеличивается даже. Все сгрудились в дверях. Одни сидят на полу, свесив ноги на улицу, второй ряд стоит за ними, опираясь на перекладину – строганую доску-пятидесятку, просунутую в скобы поперек дверей. Третьи свисают с верхних нар, стараясь высунуть голову на улицу через верхнюю часть дверного проема или через люки.

Мое место – на верхних нарах, у такого люка. Мне хорошо видно, что впереди, на западе, поднимается навстречу нам большая грозовая туча, и мы мчимся прямо навстречу ей.

Уже стали видны полосы дождя впереди, сверкание молний из тучи, но гром за шумом поезда еще до нас не доносился, как вдруг одновременно и дождь хлынул потоком, и ветер вместо горячего рванул холодный и сырой, и сразу стало заливать вагон струями дождя через открытые двери и люки. Пока задвигали двери и приспосабливались захлопнуть люки крышками, откинутыми наружу, над поездом разбушевалась уже гроза небывалой силы.

Разряды молний вспыхивали один за другим, казалось, непрерывно. Порывы ветра ясно ощущались, как толчки по вагону, появилась тревога, не опрокинуло бы поезд с рельс. Ураган в точном смысле слова. Видимость пропала совсем, потемнело так, что, казалось, наступил вечер. Когда подняли наконец железные крышки люков, в вагоне стало совсем темно, ребята стали чиркать спичками.

Смех прекратился, послышалась ругань и жалобные вопли. Крайних у окон, меня в том числе, стало заливать потоками дождевой воды через щели.

Сосед мой, Саша Марущак, говорит мне:

– Ну, это не к добру. Такая гроза, да с запада, в самом начале дороги – это что-нибудь должно значить!

– Э-э, Саша, да ты суеверный, оказывается, – отвечаю я, хотя сам думаю то же самое, только неловко было признаться.

Из разных углов вагона послышались замечания в том же духе. Ощущение недоброго предзнаменования оказалось не

только у нас двоих.

Сквозь грозу мы ехали час-два, не больше. Но из многих сотен атмосферных гроз, виденных за всю жизнь, та гроза запомнилась навсегда. Она и в самом деле оказалась вещей.

8

Дорожные впечатления иной раз запоминаются надолго. Запомнилась и та дорога. Прошло уже без малого сорок лет, но многие эпизоды все еще стоят перед глазами, как вчерашние.

Проскочили сквозь грозу, и опять засветило солнце. Степь умылась, и посвежевшие краски оживили казавшуюся скучной картину. А тут и кончаться начали эти татаро-башкирские просторы. Зная эту дорогу наизусть, я рассказывал своим спутникам, что ожидает нас за очередной станцией. Колея одна, наш поезд идет вне расписания, и иной раз приходится подолгу стоять на маленьких станциях, полустанках и разъездах, пропуская встречные поезда.

Появились перелески, а перед Мелекесом по обе стороны дороги стояли уже прекрасные сосновые боры. Гроза и здесь прошла перед нами, и насыщенный озоном и напоенный хвойным настоем ароматный воздух так волнами и вливается в наши груди. Хорошо стало!

В Мелекесе продолжительная остановка. Раздача горячей пищи – ужин. Толстый капитан, комендант эшелона, обходит вагоны, предупреждает старших по вагонам о необходимости соблюдения дисциплины – не позволять на остановках выскакивать из вагонов без разрешительной команды. Кто-то уже умудрился отстать от поезда на станции Нурлат.

Ужин поуспокоил возбужденные впечатлениями дня наши нервы и разгоряченные головы. Предгрозовая духота тоже способствовала усилению этой взбудораженности. Теперь все стали понемногу утихомириваться. Кое-кто уже мостился на ночь. После отъезда из Мелекеса уж и многие начали укладываться спать.

Но мне не спалось. Июньский день долог, и, несмотря на поздний час, было еще светло на улице, а мне не хотелось проскочить Ульяновск, не поглядев на Волгу и на город, спускавшийся кудрявыми садами с высокого гористого берега к реке. Сидя у окна, которое опять можно было держать открытым, я вслушивался в грохот колес по мосту, и, глядя на Волгу, на Венец, на пароходные пристани с дымящими пароходами, старался запомнить все эти детали пейзажа, который действительно очень красив, но и дорог был мне еще по воспоминаниям студенческих лет. Возвращение из Казани, где учился, на каникулы в Уфу, где был отчий дом, всегда проходило по этой дороге, через Ульяновск, и всегда сопровождалось радостными, приятно-тревожными ожиданиями встречи с

родными, предвкушениями домашней спокойной, беззаботной и – что греха таить – сытной жизни. После многомесячной студенческой столовки уж так всегда мечталось о домашней, материнской кухне…

Я уснул позже всех и спал крепко.

Проснулся оттого, что Саша Марущак растолкал меня.

– Хватит дрыхнуть! Посмотри, как красиво! Где это мы стоим?

Ругнувшись и продрав глаза, я нехотя приподнялся, глянул в окно – и замер! Сонливость слетела, как ее и не было.

Поезд стоял. Впереди виднелся мост через большую реку. На противоположном берегу, освещенные утренним розовым солнцем, поднимались над зеленью высоких деревьев, скрывавших незнакомый город, колокольни и маковки многочисленных церквей. Удивительным было это внезапное возникновение перед глазами картины из русской сказки.

– Какой это город, ты не знаешь? – спрашивал меня Саша Марущак?

Я старательно думал, стараясь сообразить, куда мы могли заехать ночью, пока спали. Город был мне явно незнаком, здесь я никогда не был. Церкви – по виду очень старые, даже древние, значит, это какой-то старинный русский город. И большая река… Какая тут река может быть? Ведь не могли мы за 6–7 часов уехать очень далеко от Ульяновска. Волгу мы уже переехали вчера, значит, это должна быть Ока! Нет тут больше других больших рек.

– Наверное, это Муром… – говорю я Саше.

– А ты бывал здесь? – спросил Саша.

– Нет.

– Так откуда ты знаешь?

– Не знаю, а просто так думаю. Предполагаю. Это Ока должна быть. Ведь Москву мы еще не проехали и не могли проехать по времени. А уж объехать тем более не могли. Значит, это Ока. Других больших рек на этом пути нет. А на Оке стоит Муром, древний город. Вот он и есть.

По мере того как я рассказывал Саше свои соображения, я и сам больше укреплялся в правильности своей догадки.

– А чего мы здесь стоим, товарищ младший лейтенант? – спросил один боец.

– Перед мостом стоим, должно быть, встречный пропускаем. По мосту одна колея идет.

Действительно, с той стороны реки послышался гудок, и затем стало видно, как на мост стал втягиваться пассажирский поезд. Значит, скоро и мы поедем, вот только пройдет этот

встречный.

И с тем же ощущением нетерпеливой ненасытности, которую вчера я чувствовал при виде Волги и Ульяновска, я, высунувшись из окна, стал разглядывать эти древние колокольни и купола Мурома. В действительности, вероятно, белые, в утренних ранних лучах они казались совсем розовыми, и это было особенно красиво.

Я так загляделся, что и не заметил, как мы тронулись и стали въезжать на мост, и когда Саша дернул меня сзади за ремень, увидал впереди отчаянно жестикулирующего и угрожающе размахивающего винтовкой часового у въезда на мост, и вспомнил, что запрещено высовываться из вагонов на мосту, и поскорее убрался.

– Ну, что? – спросил я Сашу Муращака, когда мы, проехав мост, подъезжали к светло-зеленому вокзалу, на котором крупными буквами по торцу и по фасаду было выведено: МУРОМ.

– Да-а, ты силен в географии… – проворчал Саша.

Весь день мы ехали по местам, где мне не приходилось бывать раньше, и я не отрывался от окна. Запомнился Ковров, город, о котором я и не слыхал раньше. Чувствовалась близость к Москве – по большому оживлению на станции. Большое количество поездов – грузовых, пассажирских, теснота, сутолока, гудки, дым – составили резкий контраст с дремотной тишиной, покоем и красотой утреннего Мурома. Многочисленные заводские и фабричные трубы, видневшиеся в городе, густые шлейфы дыма из них говорили о большой промышленности здесь, но тут на расспросы моих спутников я ничего ответить не мог. В экономической географии, к Сашиному удовольствию, я не оказался так же силен, как в физической. Не знал я и заводов этого города, как и сам город.

Мне уже становилось ясно, что везут нас не через Москву и что мы объезжать будем ее с севера. Хоть у нас и не было с собой карты, но я представлял себе наш путь дальше и, чтобы подразнить Сашу Марущака, сказал ему, что дальше будет, всего вероятнее, Иваново-Вознесенск, а потом Ярославль.

– Не Иваново-Вознесенск, уж если на то пошло, а Иваново. Тоже мне географ, не знаешь, как города называются, – подкусил меня Саша. – А поедем мы через Москву, а не через Иваново. Отсюда дорога прямо на Москву идет!

– Спорим, что через Иваново? – подхватил я.

– Спорим! – согласился Саша – и проиграл.

Сначала он радовался и веселился, толкая меня кулаком в бок – дорога после Коврова явно шла на запад, на Москву. Но очень скоро, не прошло и часу, мелькнула какая-то станция, и

после нее стали мы заворачивать на север. Дорога на Москву так и осталась по левую руку.

К вечеру впереди показался большой город. Все в вагоне с интересом следили за нашим спором.

– Ну, что, Саша, никак это Москва? А может, и не Москва… – терзал я Сашину душеньку. – Мне так думается, что это – Иваново-Воз… прости, Иваново!

Действительно, оказалось Иваново. Было уже поздно. Помрачневший Саша молча укладывался спать. Ему так хотелось проехать через Москву. Он там учился.

Мне вспомнились слова Толстого – первую половину дороги человек думает о том, что он оставил, вторую – о том, что его ждет впереди. По тому, как все чаще нам всем думалось о том, куда мы едем, что нас ждет, мне стало казаться, что уж на вторую половину пути мы перевалили.

9

Саша еще похрапывал, когда я проснулся на другое утро, да и большинство людей в вагоне, пользуясь несоблюдением обязательного часа подъема, спали, или предпочитали не подниматься с нагретого места, хоть и жестковато было лежать. Только несколько пожилых красноармейцев из приписных, привыкших, видно, дома к раннему вставанию, дымили махоркой в вагонных дверях, опершись на перекладину. Поезд только что тронулся после какой-то продолжительной стоянки. По шуму и различным звукам – гудкам, пыхтению паровозов, лязганью буферов – я понял, что мы стояли на большой станции. Вдруг я услышал низкий, протяжный и мелодичный гудок, заставивший меня насторожиться. Это же не паровозный гудок! Это пароходный гудок! Значит, мы стояли в Рыбинске! Там вокзал недалеко от Волги, я помню это по нашей жизни в Рыбинске в 1925 году, когда мы прожили здесь и в дачной местности около города все лето. Скорей, скорей к окну!

– Ребята, какая станция была? – спросил я стоявших в дверях.

– Рыбинск.

Ну, так и есть, надо вставать. Попробовал добудиться Сашу, но куда там! Он только повернулся на другой бок.

Однако, высунувшись из окна, я ничего не мог узнать на местности. Перемены разительные, все изменилось до неузнаваемости. В тот год уже заполнилось Рыбинское водохранилище, и всюду была видна большая вода, затопившая огромные пространства. Устье Шексны, крупного притока Волги, недалеко от которого находился дачный поселок, в котором мы тогда жили, еще было обозначено берегами, но дальше все было под водой, значит, и тот поселок, Карпунино.

Вскоре показались каких-то прямо циклопических размеров сооружения. Когда подъехали ближе, стало видно, что это строящийся громадный железобетонный мост через Волгу для автотранспорта и для железной дороги, потому что он строился рядом со старым мостом, по которому мы переезжали Волгу. Поразили эти невиданных размеров фермы, устои, пролеты. Я не успевал охватить глазами все сразу: разлившуюся Волгу, к северу превратившуюся в водную бескрайность до горизонта, и этот гигантский мост, и множество других, новых для меня деталей ландшафта.

– Эх, Саша, проспал ты интересную картину! – сказал я Саше, который проснулся наконец и продолжал еще лежать с открытыми глазами.

– А что было? Где мы едем? Почему ты меня не разбудил? – стал спрашивать Саша.

– Да-а, тебя добудишься… – процедил я сквозь зубы. – Рыбинск проехали. Волгу опять пересекли.

– Волгу? Где Волга? – вскочил Саша и потянулся к окну. Но все уже скрылось, за окном виднелись только леса и леса.

Большинство наших красноармейцев никуда раньше не ездили, во всяком случае, не ездили так далеко. Сейчас впервые в своей жизни они почувствовали, как велика наша русская земля. Вот уже четвертые сутки едем, а все еще конца нашему пути не видно. Сколько городов и станций проехали, сколько рек пересекли, картины за окном меняются, а земля все наша, русская.

– Долго нам еще ехать, товарищ младший лейтенант? – спрашивают бойцы.

– Не знаю, ребята, наверное, дня два, а то и три еще проедем, – отвечаю.

Нашлись и бывалые, конечно. Кто-то начинает рассказывать, как он ездил с воинским эшелоном на Дальний Восток для прохождения действительной службы. Вот дорога, так дорога была! Чуть не месяц ехали! Леса там не то что здесь – тайга! Разве здесь леса? И реки там много шире здешних и больше их, и горы есть, с туннелями, и Байкал-озеро огромное, что твое море… А сейчас что? Разве это дальняя дорога?

Ребята слушают рассказчика с интересом. Мы с Сашей тоже слушаем. Я про себя думаю – что за страна? В одну сторону ехать – неделю надо, чтобы до конца доехать. В другую сторону – и двух недель будет мало. Да еще и на север, и на юг сколько! Велика земля русская!

На другой день переменились картины за окном. Ночью, видимо, мы пересекли дорогу Москва – Ленинград, все проспали, никто не знает, на какой станции это было. Я припоминаю, что на карте, кажется, две узловые станции на этой дороге – Калинин и Бологое. Других не знаю. Склоняюсь ко второму варианту.

– Надо думать, Валдайская возвышенность скоро будет, – говорю я Саше.

И действительно, местность за окном уже не низинная. Пологие холмы с плавными переходами от одного к другому, сосновые леса по склонам, местами обнажены песчаные откосы. Сухие места, и населены не густо.

Вскоре за соснами стала мелькать голубая вода – и вдруг открылось большое озеро, изрезанные бухтами берега уходят на север, там виднеется остров большой с монастырскими белыми стенами, соборами, а здесь, ближе, на другом берегу озерного

залива, который мы огибаем, чудесный маленький городишко, весь беленький, чистенький, возле самой воды – прелесть, какое место! И так он неожиданно возник, что я растерялся, никак не могу сообразить, что это за город должен быть и какое это озеро, и вообще, что это за местность?

Настало время торжествовать Саше. Он берет реванш. Ему знакомы эти места – с родителями он бывал здесь в детстве.

– Эх, ты, «географ», не знаешь… – дразнит он, – такую достопримечательность не знаешь. Это же Осташков, а озеро – Селигер! Слышал такое? – даже нижнюю губу оттопырил в знак полного презрения.

Слышать-то я слышал, конечно, но как-то и не подумал, что мы можем проезжать мимо. А уж что здесь такая красота неописуемая, так этого я и не ожидал вовсе. Вот где побывать бы…

Но поезд наш даже не остановился в Осташкове. Мелькнуло мимо это чудо русской природы, озеро скрылось, за поворотом исчез и городок, и опять потянулись лесистые валдайские холмы.

Почему-то замедлилось движение. Мы стали чаще останавливаться и подолгу стоять на маленьких незаметных станциях и разъездах. Ночью добрались до Великих Лук и простояли там до позднего утра. Тут-то, похоже, и понятна стала причина замедления нашего продвижения.

Вся станция Великих Лук оказалась забитой воинскими поездами. Эшелоны с людьми, военной техникой: орудиями, танками, машинами, поезда с запломбированными товарными вагонами, длиннейшие составы цистерн с горючим – одни прибывали, другие отправлялись с очень короткими интервалами. Мы ждали своей очереди.

Тут, в Великих Луках, пришел конец нашему беззаботному настроению. Теперь уж мы не предчувствовали – своими глазами видели, что готовится что-то серьезное, и нам в этом предстоит участвовать.

Было утро 20 июня. Но нам еще понадобилось полтора суток, чтобы добраться до старой западной границы, хоть до нее уж и было не так далеко.

Вечером двадцать первого мы прибыли на какую-то станцию. По вагонам передали команду:

– Готовиться к выгрузке!

Через час примерно пришла другая команда:

– Выгружайсь!

Было 22 часа московского времени, на дворе совсем светло. Вдали виднелось станционное здание, на котором было написано ИДРИЦА. Я прочитал это название, напрягая зрение.

Дальше события пошли с кинематографической быстротой.

10

Было около 10 часов вечера, когда скомандовали общее построение и нам объявили, что идем к складам переобмундировываться и довооружаться. Идти пришлось совсем недалеко, и на удивление быстро – повзводно – всем были выданы совершенно новые комплекты обмундирования, вплоть до нижнего белья, и, что самое главное, опротивевшие ботинки с обмотками тоже были заменены сапогами. Красноармейцы получили сапоги кирзовые, а мы, комсостав – прекрасные яловые, с толстой кожаной подметкой. Если бы мне тогда сказали, что в этих сапогах я прошагаю пешком без малого тысячу километров и мы это выдержим – и я, и сапоги – ни за что бы не поверил.

Легкое стрелковое оружие нам также заменили. Вместо старых разболтанных винтовок, которые мы привезли с собой, нам выдали новенькие винтовочки и ручные пулеметы. Станковые пулеметы и минометы остались старые.

Но что больше всего удивило нас, так это получение боеприпасов. И это оказалось не только к удивлению, но и к неудовольствию, так как не больше чем через час мы выступили, и боеприпасы значительно увеличили вес переносимых грузов. Приказано было объяснить личному составу, что боеприпасы выданы потому, что маневры будут происходить в районе государственной границы, а всякая воинская часть, находящаяся в районе границы, должна быть снабжена боеприпасами.

Где-то в первом часу бледной июньской ночи мы выступили колонной в северном направлении от Идрицы. Было очень тепло. Спать не хотелось – отоспались за дорогу. Мы шли то полями, то перелесками, дышали удивительным воздухом, в котором было растворено множество чистых запахов. Даже пыль, вздымаемая нашими ногами, не могла перебить это ощущение свежести и чистоты.

Отсутствие тренированности к походам быстро сказалось. Появились жалобы на потертости ног – обувь-то необношенная! Послышались разные протесты, особенно от тех, кому пришлось нести ручные пулеметы, диски к ним. Наконец, я запнулся за коробку с пулеметными дисками – кто-то впереди бросил нести коробку. Со скандалом пришлось находить нарушителя и заставлять вернуться и продолжать нести коробку. Через несколько минут я приказал подменить уставшего.

Скоро стало светать. Мы шли по лесной дороге вдоль небольшой, быстрой и вертлявой речки с очень чистой водой, обтекавшей крупные валуны, лежавшие на дне и по берегам.

Тщетно пытался я сообразить, какая это могла быть река? Подумал, что это могли быть верховья реки Великой, но это было только предположение, не основанное ни на чем достоверном. Тем более приятно было потом узнать, что чисто случайно я угадал – это была Великая в ее самом верхнем течении.

Солнце вставало на совершенно безоблачном небе. Заря была яркой и чистой. Проснулись птицы, со всех сторон слышалось их неумолчное щебетание, чирикание, пение. Давно уже не приходилось мне видеть рассвет и восход солнца на природе, а тут и утро выдалось такое необыкновенное, и под впечатлением этой красоты все мы как-то позабыли и свою усталость, и наши тревоги перед неизвестным будущим.

Солнце уже несколько поднялось, и уже стало ощущаться тепло его лучей, когда мы услышали какие-то новые звуки, донесшиеся сверху, с неба. Вскоре не осталось сомнений, что эти звуки – гул летящих самолетов, которых мы не видим. Показалось странным, что звук этот какой-то не похожий на звук наших самолетов. Было в нем что-то звенящее, наши самолеты производили в полете звук несколько глуше. Тембр звука летящих в стороне самолетов был явно нам незнаком, и это показалось странным. Время было что-то около четырех часов утра, может быть, немного больше. Шум пролетевших самолетов удалился в восточном направлении, и это опять показалось нам странным.

К восьми часам мы пришли на край большого поля, где с одной стороны протекала все та же речка, а с другой начинался довольно глухой лес, и увидели дымящие походные кухни, которые, оказалось, прибыли сюда раньше нас. Скомандовали остановку. Тут мы почувствовали, что устали, что хотим есть и еще – хотим спать.

Командиры рот, вернувшиеся от командира батальона, объявили: завтракать и отдыхать, то есть спать до обеда. Очень приятная была команда, которую все с полным удовольствием исполнили. Мы с Сашей Марущаком, выкупавшись в холоднющей речке, позавтракав, расположились спать на опушке леса, рассчитав, чтобы солнце, передвинувшись, не скоро начало нас припекать, и быстро уснули.

11

– Подъем, подъем! Вставайте! – кто-то отчаянно тряс меня за плечо. Мне показалось, что я и не спал вовсе, голова была совсем мутная, ничего сообразить не мог.

– Вставайте, товарищ младший лейтенант, подъем по тревоге! – помкомвзвода меня будил, одновременно тряся за плечо и Сашу Марущака. Слова «по тревоге» заставили меня очнуться, и я вскочил.

Команды к построению не было. Всем приказано было собираться в дальнем конце поляны на полковой митинг. Там стояло несколько штабных машин и открытый «газик», которого раньше мы не видели. Около машин стояла группа командиров и 2–3 человека каких-то гражданских. По дороге, от бежавших мимо незнакомых командиров я услышал слово – ВОЙНА!

Еще не веря услышанному, тем не менее я ускорил шаги, чтобы оказаться поближе к группе начальников и расслышать все, что будут говорить. Странным и необычным был этот сбор всех военнослужащих без обычного построения. Сама эта необычность говорила о какой-то чрезвычайности происходящего.

Бойцы из хозвзвода заканчивали мостить что-то вроде импровизированной трибуны из ящиков и случайных досок, когда я протиснулся в первые ряды стоявших.

Командир полка, майор, пошептавшись с окружающими командирами, взобрался на помост, помолчал секунду, потом своим зычным голосом крикнул:

– Тихо! Тихо! – потом добавил, дождавшись, когда успокоение дошло до задних рядов: – Сейчас с важным сообщением выступит… – и он назвал незапомнившиеся мне звание и фамилию крупного политработника, очевидно, прибывшего в часть, пока мы спали.

Я взглянул на часы. Было 10 часов утра, когда тот политработник начал говорить. Историческое выступление по московскому радио Молотова было в 12 часов дня, и мы его уже и не слушали, к тому времени мы все уже знали.

Голос выступавшего сначала как бы дрожал слегка от волнения, но потом окреп и набрал силу. Он сообщил нам о совершившемся сегодня на рассвете нападении Германии на нашу страну по всему фронту от Черного до Балтийского моря, о развернувшихся боях вдоль всей западной границы, о налетах германской авиации на некоторые наши города. Сказал и о странном гуле самолетов, который мы слышали сегодня рано утром, на заре. То были вражеские самолеты, шедшие бомбить

железнодорожные узлы в наших тылах. Далее он сказал о переводе нас на военное положение, как прифронтовой воинской части, о введении с этой минуты законов военного времени, об ответственности перед трибуналом за самовольную отлучку, считаемую дезертирством, за невыполнение приказов командования, считаемое изменой…

Немедленно начался митинг. Говорил командир полка, говорили другие командиры, выступило и несколько красноармейцев. Все выступавшие говорили коротко и просто. Никто не готовился к своим выступлениям, ни у кого не было никаких запасенных бумажек. Люди говорили именно то, что чувствовали и о чем думали в ту минуту. Слова получались простые, не всегда гладкие, но неизменно искренние и честные. Все понимали историчность, переломность момента – поворотный этот день с его солнцем, по-прежнему сиявшим на безоблачном небе, как бы померк, помрачнел, и не было смеха и шуток после команды разойтись после окончания митинга.

12

Через пару часов был объявлен приказ командира полка об организации новых подразделений в связи с вводом военного положения. К своему крайнему удивлению получаю под командование транспортную роту, иными словами – обоз. Прибыла машина – фургон с радиостанцией, Саша Марущак назначен туда, в персонал обслуживания, другие ребята нашей группы получили взводы. Помню чувство ущемленного самолюбия и зависти, которое я испытал к ребятам, получившим взводы. Они подшучивали надо мной, – у тебя же рота, чего ты тужишь, это не то что наши взводишки! Но меня не веселили эти шуточки, наоборот, еще больше озабочивали. Я ведь и лошадей совсем не знал, не знал, как с ними управляться надо. Но делать нечего. На войне приказы не обсуждаются.

Два дня проторчали мы на той поляне, на берегу Великой. Я уже узнал от местных крестьян, что эта речка действительно Великая. И только на третьи сутки с начала войны поступил приказ двигаться на запад, в сторону старой государственной границы.

Мне шагалось легче всех! Я был командиром роты – без роты! Оказалось, что следовавшие за нами эшелоны нашей дивизии проскочили Идрицу и выгрузились на следующей станции Себеж, но ни собственного автотранспорта, ни лошадей у нас не было. Как потом я узнал, мы стояли в лесах за Идрицей потому, что собственной задачи дивизия в эти первые дни так и не получила. И двинулись лишь тогда, когда стало необходимо перед приближавшимися немцами быстро организовывать оборону по линии Себеж – Дрисса – Витебск.

Помню нервозность первых дней войны. Постоянно возникали слухи о десантах в тылу и бесчисленных диверсантах, шныряющих якобы повсюду. Подозрительность, и так излишне взвинченная и воспитанная за предыдущие годы, сейчас, перед реальной угрозой, принимала совершенно фантастические размеры. Помню сцену, виденную мимоходом, как незнакомые командиры яростно допытывались у какого-то белорусского колхозника, встретившегося им по дороге и попытавшегося слишком, им показалось, торопливо уступить дорогу военным, чем он вызвал их подозрение, с какой целью его заслали немцы? Его мерин, запряженный в какую-то тележонку, норовил съехать в канаву, где зеленела трава, нимало не беспокоясь о том переплете, в который неожиданно попал его хозяин. Однако подлинных диверсантов и десантников нам так и не попалось.

Еще два дня мы болтались взад-вперед в районе между Себежем и старой государственной границей. Задачи полку менялись прежде, чем мы могли приступить к выполнению предыдущей. Наконец последовал приказ возвращаться в Себеж и снова грузиться в эшелоны.

В памяти осталась прекрасная природа тех мест. Пологие холмы, озера между ними, в прекрасном состоянии дороги, сухие хвойные леса. Но вся красота природы уже не воспринималась чувствами, а только глазами. Все чувства были уже подчинены другому – войне, всему, что она за собой несет. Невеселые мысли возникали от картин беспорядка, бестолковщины, бесхозяйственности и растерянности старших командиров.

На второй день болтанки в районе старой границы мы получили приказ занять часть укреплений Себежского укрепрайона. Оказалось, что в связи с переносом государственной границы в сороковом году укрепления были демонтированы. И когда это успели все так капитально разрушить! Ни связи между огневыми точками, никакого инвентаря в дотах. Даже за посудой для хранения воды пришлось бежать выпрашивать у колхозников невдалеке. Хорошо, люди понимали и охотно помогали, кто чем мог. Не успели мы дооборудовать свои новые позиции, как последовал новый приказ. Все были так издерганы бестолковщиной этих первых дней войны, что матерились в открытую. Оказалось, на наше место должна заступить сто семидесятая дивизия, наш бывший сосед по Юматовскому летнему лагерю. Разозлившиеся ребята моей роты хотели и воду вылить из бачков («пускай сами наносят»), да я не позволил.

К вечеру мы были уже в Себеже. Садилось солнце. Вечер был тих и спокоен, но никакого покоя не было среди людей. На станции оказалась такая невообразимая толчея, что для нашей погрузки эшелоны были оттянуты от станции на перегон в сторону границы, куда поезда уже не шли. Нам пришлось опять топать несколько километров назад дорогой, которую мы только что прошли.

Погрузка была трудная. Без платформы, по накатам, втягивали орудия, грузили ящики с боеприпасами, продовольствием, всего больше намаялись с этими проклятыми лошадьми, которые никак не хотели подниматься в вагоны. Уже глубокой ночью кончили грузиться и все повалились спать, как убитые.

Проснувшись утром – видим, что стоим все там, где и грузились! Никуда не тронулись ночью. Ну, и дела! Вот так война! Часов в десять от Себежа показался дымок, и мы увидели попыхивающий паровозик, торопящийся к нашему эшелону.

Глава II

1

…С детства проникся я нелюбовью к советской власти. Пережитый в 13 лет шок от прочитанных в подшивках старой «Нивы» подробностей об убийстве царского семейства на всю жизнь отвратил меня от утвердившегося у нас режима. Потом, с годами, все, что было ошибочного и плохого, встречавшегося в нашей жизни, подмечалось, запоминалось, усиливалось в воображении до гиперболических размеров. Методы и способы осуществления идей социализма, применявшиеся Сталиным, привели к тому, что сами эти идеи в моих глазах оказались совершенно скомпрометированными и не вызывавшими ничего, кроме отталкивания от них.

Это было удивительно, что меня не посадили в самые ранние годы. Каких неимоверных усилий стоила необходимость скрывать, маскировать свое подлинное лицо, изображать лояльность и согласие. И сама эта неизбежность постоянного притворства, невозможность быть самим собой, открыто жить со своими собственными симпатиями и антипатиями – еще больше озлобляла душу и растравляла ум в отношении порядков и законов, требовавших от меня постоянного насилования самого себя, своей личности.

В годы разгула сталинщины, во времена повсеместного нарушения всякой законности вообще, в том числе и советской, все отрицательное и отвратительное, что явил нам Сталин, – обман, жестокость, тиранию, произвол, неоправданный, бессмысленный террор против всего народа и против своих собственных соратников в том числе, – все приписывалось не только личности этого ужасного человека, но советской власти, ее системе, при которой оказалось возможным утверждение у власти такого чудовища.

Я не был одинок в подобных настроениях. В каждой группе людей можно было встретить единомышленников, которые сразу же откликались на первые проявления единодушия. Слишком много было в те годы в жизни страны объективных условий и обстоятельств, питавших наши настроения.

Самой главной, самой горячей мечтой людей с настроениями, подобными моему, была жажда перемен в стране. В то же время было совершенно ясно, что никакие перемены сами собой, изнутри, внутренними силами, произойти не могут. Законы естественной, исторической, неизбежной эволюции мне в то время совершенно не казались существующими. Жизнь понималась статически, признавалась за вечно существующее и

навек неизменное то ее состояние, которое виделось в данный момент бытия.

Начинавшаяся в тридцать девятом году европейская война разбудила смутные надежды на то, что и у нас могут начаться какие-то перемены. Некоторые признаки к этому как будто бы стали проявляться.

Постепенно утих и вроде бы вовсе прекратился сталинский террор. Во всяком случае, массовые репрессии больше не производились. Несколько улучшилось материальное положение в стране, по крайней мере в городах. От жизни колхозной деревни мы, городские жители, в то время были отрезаны обстоятельствами нашего быта – в деревне большинству, кто не был вынужден условиями работы, бывать не приходилось. Даже ежегодный выезд летом на дачу всем семейством в те годы не был распространен так, как сейчас.

В ожидании перемен и в тайной надежде на них я и жил последнее предвоенное время. Свою работу – чтение лекций в вузе, обучение студентов – я вел с позиций совершенной лояльности, ни малейшим внешним проявлением не обнаруживал своих истинных взглядов. Теперь, оглядываясь на ту сорокалетнюю даль, я вижу, каким самым ужасным для советской власти типом «врага» я был – врагом, настолько искусно замаскировавшимся, что этого никак нельзя было заметить. И даже наш секретарь парткома Родионов, разоблачивший уже столько «врагов народа» в стенах нашего института, оказался тут, в случае со мной, удивительно недальновидным – несколько раз в течение тридцать девятого и сорокового годов он приступал ко мне с предложениями вступать в партию, а мне всякий раз стоило все больших усилий и трудностей благовидно, не возбуждая подозрений, уклоняться от этих предложений.

Вот в таком душевном состоянии застигло меня начало войны.

Нетерпеливое желание перемен, жажда всякого недобра советской власти, как всякие недобрые чувства вообще, мешали видеть жизнь в правильном свете, рисовали ее искаженно, однобоко и приводили к неверным оценкам.

Всякий возможный внешний противник виделся только как противник советской власти, потенциальный носитель добра для России. Собственное лицо такого противника, казалось, не имело значения, поскольку с его помощью могла быть достигнута основная мечта жизни – свержение советского режима в стране.

Так и получилось, что, когда в июне сорок первого года началась война, я не видел в немцах своих врагов и не видел в них врагов России, а только врагов советской власти.

Следовательно – своих союзников. Мысль о добровольной сдаче в плен, о переходе на сторону немцев не пришла мне в ту пору не потому, что не могла прийти – наоборот, очень даже могла – но потому, что просто не успела прийти. Военная обстановка первых недель сложилась так, что в той головокружительной быстроте перемен, которые тогда происходили, я и оглянуться не успел, как оказался у немцев в плену объективной силой обстоятельств. Только оказавшись в плену, несколько опомнившись от стремительности всего происшедшего, я обнаружил в себе отсутствие внутреннего протеста против такого поворота судьбы, я понял, что хоть и не пришел в плен добровольно, но в глубине души хотел этого и вовсе не находил в себе желания воевать под лозунгом «За Родину, за Сталина», вторая часть которого была мне даже физиологически нестерпима.

Вокруг меня в плену хоть и находились люди примерно таких же взглядов, но не все же! Наоборот, подобных мне ненавистников строя было меньшинство, основная масса переживала плен как тяжелейшее несчастье своей жизни и крушение судьбы. Я понимал, что мой случай – не типичен. Тем более потом, спустя годы, меня интересовало разрешить загадку: как было на самом деле в конце июня – начале июля, что и я сам, и большинство людей, которые были вокруг меня в те дни и которых я знал в лицо, так бесславно и глупо, не начав, по существу, войны, можно сказать, прямо с колес да и попали в плен к неприятелю. Для себя самого мне мучительно нужно было разобраться, какая доля вины на ком лежит? По официальной установке, особенно действовавшей в те годы, во времена сталинщины, в пленении виноват может быть только один человек – сам пленный. Кто не хочет попасть в плен, тот не попадет, потому что в положении, из которого у него не будет выхода, он пустит себе оставшуюся пулю в лоб, висок, в рот – куда сочтет для себя более приятным… В плену оказывается только тот, кто хочет этого… Даже такого термина не было «попал в плен», а только – «сдался в плен».

Такая концепция оборачивалась сама против себя, потому что число пленных в первые недели, а затем и месяцы войны было чудовищно велико, и если следовать тогдашним представлениям – очень уж много было нас, тех, кто «хотел» попасть в плен. Настолько много, что это было уже и невероятным. Просто не могло быть, чтобы такое большое число русских людей могло «хотеть» плена. Что-то было явное «не то».

В то же время человеку, раненному в ходе боя, видящему вокруг себя тоже раненых и убитых своих товарищей, кажется, что это крушение всего, ему невольно думается, что и со всеми так,

как с ним и его товарищами, что все рушится и гибнет. Нечто подобное испытал и я сам, попав в плен совершенно неожиданно и никак на него не рассчитывая. Мне казалось в те дни, что все погибло, проваливается в тартарары, конец Красной Армии, крушение советской власти. Но это-то как раз меня радовало и возрождало старые надежды!

Сходные с этими настроениями я наблюдал в те дни и у иных моих товарищей по несчастью. Нам казалось, что то, что произошло с нами, происходит и со всеми, с целой армией, со всеми вооруженными силами, со всей страной. Наше собственное крушение воспринималось нами как крушение всеобщее. Вероятно, это следствие проявления человеческого эгоцентризма… Чем менее человек эгоцентричен, тем менее он подвержен воздействию таких настроений. И это я тоже потом наблюдал на многих примерах: простые ребята из крестьян или из рабочих, не привыкшие много думать о самих себе, а только – о деле, которое им поручено, гораздо менее подвергались настроениям паники и упадка, а потому реалистичнее смотрели на вещи и на свою судьбу, и на свою роль.

Лет восемь назад удалось мне раздобыть мемуары бывшего командира нашей дивизии генерала Н.И. Бирюкова *(Бирюков Н.И.* На огненных рубежах. Башк. изд.: Уфа, 1969). В его воспоминаниях прочитал я следующие слова: «Обстановка, в которой оказалась 186-я дивизия в первые дни войны, не была характерной для всех соединений и частей. Уже в то время у нас имелись факты, когда войска были обеспечены всем необходимым и успешно вели борьбу с немецко-фашистскими захватчиками».

А немного выше генерал писал: «…задача перед нами стояла нелегкая. Дивизия была неотмобилизованной, без тылов, без конского состава, почти без автотранспорта, без артиллерии, потому что артполк был еще в пути, а полковая артиллерия не имела лошадей. Несмотря на это, она получила полосу обороны свыше 50 километров. Занять же ее мы могли только одним 298-м стрелковым полком. Два других полка, 290-й и 238-й, на рубежи выдвигались прямо из эшелонов». 238-й стрелковый – это и был наш полк…

Не дав нам дождаться подхода немцев к Себежскому укрепрайону, нас сняли и перебросили под Витебск. По дороге, едва двинувшись с места, мы попали под бомбежку одним-единственным немецким самолетом – он сбросил три бомбы. Одна взорвалась на путях станции Идрица, где мы остановились, между нашим эшелоном и другим, стоявшим через десяток пустых путей. Немца отогнали два наших юрких тупорылых

ястребка, вынырнувших откуда-то из-за леса, тот сбросил еще две бомбы где-то уже за станцией и улетел прочь. Но от этой единственной бомбы, упавшей на путях, сначала загорелся один вагон в середине того, второго состава, а потом, через несколько минут – исчез вдруг весь состав, на его месте образовалось как бы огненное озеро, огонь не метнулся вверх, как рисуют взрывы на картинках, а растекся по земле вдоль всего эшелона вправо и влево от него метров на 20–30, захватив ближайшие пути и наш комендантский взвод, бежавший во главе с капитаном, комендантом эшелона, с лопатами забрасывать песком горящий вагон. И звука взрыва мы не услышали, только что-то фукнуло со страшной силой на нас, и мы повалились друг на дружку, не успев понять, в чем дело. Оглохший (повредило барабанку в левом ухе, потом, спустя годы, пришлось узнать), вскочил я с полу нашего вагона и увидел, как солнце скрывается в туче пыли и дыма, поднимающиеся с земли, в воздухе, паря в нем, как листы картона на ветру, падают на землю подброшенные взрывом вагонные двери и крыши… Тот эшелон был с боеприпасами. На землю сыпались то осколки, то целые неразорвавшиеся снаряды. Иные рвались уже и на земле. Отовсюду бежали люди, они открывали рты, и тут я понял, что оглушило, не слышу, и бросился бежать вместе с ними. Иногда бежавшие рядом вдруг припускали бежать быстрее, рывком, еще и оглядываясь назад. Оглянулся и я. Там, на станции, взлетали один за одним огненные гейзеры, и какие-то хлопки, как удары вальком по мокрому белью, я уловил все-таки – это рвались цистерны с горючим, и особенно громкие и звонкие взрывы их еще прибавляли жару к нашей панике. А поселок при станции, весь из деревянных домишек, уже полыхал жутким русским пожарищем, на какие нагляделся я в своем детстве, когда мальчишкой бегал смотреть по набату на деревенские пожары, сжиравшие дотла целые деревни…

К вечеру только собрали мы кое-как своих людей да всю ночь до утра возились с тушением отдельных очагов пожара, потому что главное все сгорело сразу, за первые полтора-два часа. Так все произошло быстро, так неожиданно, что и не воспринималось даже сразу как реальность, хотя что могло быть реальней этих дымящихся пепелищ, развороченных вагонов, цистерн, железнодорожных путей – и десятков, десятков прикрытых шинелями, плащ-палатками, мешками и еще бог знает чем, уложенных рядами на лугу за станцией, военных, гражданских, старых, малых, женщин, детей, убитых, умерших от ран, ожогов, удушья, когда все кругом рвалось и горело и спасаться было некуда.

Сделали несколько перекличек, недосчитались многих, отошли назад, опять на запад, и только под утро снова погрузились и опять двинулись. Утром, при свете дня, пожарище, еще кое-где дымившееся, погибшей накануне на глазах целой большой станции с поселком, впервые явило нам смертный оскал войны. Слух постепенно возвращался ко мне, но я не слышал вокруг себя никаких слов. Поезд медленно двигался по только что восстановленным путям, и мы молча глядели на то, что наделала одна-единственная вчерашняя бомба, взорвавшаяся на полотне вблизи от того рокового эшелона…

Прошло всего несколько часов, и мы получили второй удар, который на этот раз был направлен уже прямо по нам. Мы только что проехали Невель, и поезд наш втянулся в узкое озерное дефиле, которое и сейчас существует южнее Невеля, как вдруг мы остановились. Что это была за остановка, я так и не узнал никогда, подозреваю, что это была всеобщая наша тогдашняя неловкость, неопытность, неумение воевать. Мы успели закиснуть за два десятилетия мирной жизни и тяжело раскачивались, как и вообще частенько бывает с нами, русскими. Паровозная бригада, подозреваю, завидев идущий на поезд самолет, не нашла ничего лучшего, как остановиться на этом узком, стиснутом двумя озерами перешейке…

И сразу же после остановки мы услышали над самыми головами рев самолетного мотора и множество взрывов, следовавших один за другим, одной группой и потом снова опять группой, как будто кто бросил одну горсть и за ней вторую. И наша противозенитная установка на платформе сзади нашего вагона почему-то молчала, хотя потом ребята говорили мне, что она успела выпустить одну длинную очередь. Еще не совсем стих удаливший стервятник, а уже слышны стали крики, вопли и стоны. Выскочив из нашей теплушки, мы увидели, что несколько вагонов впереди и сзади нашего разбиты прямыми попаданиями мелких осколочных бомб, и снова десятки убитых и раненых лежали возле вагонов и в самих вагонах. Еще счастье, что большинство бомб попало мимо вагонов, взорвалось возле, в нескольких метрах от полотна и не все осколки попали в людей. Но платформа позади нас с зенитной установкой из четырех станковых пулеметов получила прямое попадание, и все там были перебиты, включая и полкового комиссара, который сам стоял за пулеметом, когда успел выпустить одну очередь по немцу. Тот нагло и безбоязненно летел на бреющем полете вдоль остановившегося беззащитного поезда, не боясь ни нашего сопротивления, ни взрывов собственных бомбочек, которые были страшны только для наземных целей. И мы услышали его снова!

Он возвращался и опять ложился на бреющий полет. Но на этот раз он летел не над самим поездом, а сбоку, и, когда поравнялся с головой состава, оттуда, сверху, застрочил пулемет по нашей нестройной толпе, выкатывавшейся из стоящих теплушек. Еще убитые, еще раненые! А у нас и винтовки у большинства остались в стойках внутри вагона, выскочили так, не думая! Вот эта необученность, неотесанность наша, инерция мирного времени! Кто-то успел послать вдогонку несколько разрозненных выстрелов, но немец скрылся так же внезапно, как и появился.

2

Еще не добравшись до фронта, мы потеряли уже немало своих людей: отставших и погибших в Идрице, убитых и раненых при бомбежке под Витебском. Было удивительно, что в тот день, 9 июля, немцы не совершили налета на железнодорожную станцию Витебска. Вся территория станции, все пути были забиты воинскими эшелонами с людьми, техникой, боеприпасами. Жертвы тогда были бы просто ужасны. Но судьба хранила нас в тот раз – мы миновали Витебск благополучно.

Ночью едва не въехали немцам прямо в пасть – спасибо неизвестному железнодорожнику, путевому обходчику, петардами остановившему поезд в 2–3 километрах от станции, уже захваченной немцами.

Только спустя четверть века, из воспоминаний генерала Бирюкова, узнал я некоторые подробности боевой обстановки тех дней.

Оказывается, тогда в 10–15 километрах северо-западнее места, где нас остановили и ссадили с поезда, основные силы нашей дивизии были окружены и готовились к прорыву из первого окружения. Нас же заставили окапываться на опушке леса, и никто не знал, откуда в действительности может показаться противник.

Но и эту позицию мы не успели оборудовать до конца, как поступила вечером команда колонной двигаться на восток, в сторону поднявшегося на горизонте огромного зарева – горел разбомбленный и подожженный Витебск в 25 километрах в нашем тылу. Никто не знал задачи – куда идем, что нас ждет, что делать каждому при встрече с немцами. Наши старшие командиры еще не научились тогда воевать – что же было ждать от нас, младших? Теперь, с вершины жизненного опыта, так ясно видны все ошибки, промахи, недомыслия тех дней – и чужие, и свои собственные.

Двигались по дороге, медленно, с непонятными остановками и задержками, колонна невообразимо растянулась, голова исчезла где-то впереди во мгле лунной летней ночи. Я послал для связи одного за другим несколько бойцов вперед за получением сколько-нибудь четких указаний – никто не вернулся. Наконец, спереди по цепочке передали – транспортной роте свернуть в лес, завести транспорт в глубь леса, самим занять оборону на опушке. Ниоткуда не слышалось никакой стрельбы, только зарево в стороне Витебска разгоралось все ярче.

Наступило утро. Все время стояли прекрасные солнечные дни. Я ходил по опушке, считал своих бойцов и младших

командиров – к недоумению своему многих недосчитался. На вопросы – что делать? что дальше? – ничего не мог ответить, никаких приказаний оставлено не было. Нигде поблизости не видно было следов нашей основной колонны. Я все еще надеялся, что вот-вот кто-нибудь прибежит к нам и передаст приказ сниматься и двигаться дальше.

К полудню я закончил обход лесочка, в котором мы были оставлены с ночи – он оказался совсем небольшим, и никого из своих я больше не встретил, попадалось множество совершенно деморализованных людей из других, неизвестных мне частей. Никто не знал обстановки, у всех глаза были расширены от всяких ужасов, и совершенно нельзя было понять, истинных или воображаемых.

Я поспешил вернуться к своим. Охваченный беспокойством и недобрыми предчувствиями, прибежал я в наше расположение. Да, предчувствие не обмануло – людей стало еще меньше, десятка полтора-два, не больше, непоеные лошади бились и рвались на поводьях, привязанные к бричкам с грузами, значительная часть которых уже была растащена. Ездовых не было нигде. Ничего не оставалось больше, как принимать собственное решение. Я приказал отвязать лошадей и пустить их искать воду и корм. Потом их подберут колхозники. Я видел недалеко от леса деревеньку. В лесу остались брички, наполненные продовольствием – сухарями, сахаром, коробками со сливочным маслом, уже растаявшим в июльской жаре.

Мы направились в сторону той деревеньки, которую я усмотрел с опушки. Невдалеке за той деревенькой виднелось длинное узкое озеро, за ним – село с церковью. Деревня была переполнена военным народом из разных частей. Слово «окружение» слышалось отовсюду, жители сказали нам, что Витебск занят, на той стороне озера – немцы. Я решил проверить, у меня был бинокль. Сходил к озеру, до него было километр-полтора, и даже просто без всякого бинокля было видно, что село на том берегу запружено немцами. В бинокль за селом я увидел шоссе, по которому непрерывно шли крытые серым брезентом огромные машины – и все на восток. Вот они, немцы!

С невеселыми вестями вернулся я в деревню. От моей группы осталось всего несколько человек, дожидавшихся там, где я их оставил. Над нами пролетел немецкий маленький самолет, вроде нашего тогдашнего У-2, мы еще не знали тогда марок немецких машин. Было ясно, что двигаться по дорогам днем невозможно, посовещавшись, мы решили дождаться вечера и идти на восток ночью, в надежде выбраться к утру к своим. Да и усталость стала одолевать – две ночи и третий день фактически без сна и с

большим физическим и нервным напряжением. Ребята уже разузнали, что у жителей по огородам в стороне от изб нарыты ямы, оборудованы, как семейные убежища от возможных бомбежек или артобстрелов – там натаскано сено, есть небольшой накат, засыпанный землей, там можно переспать несколько часов до вечера, а потом тронемся…

Такое решение в те дни и часы, в той обстановке казалось мне естественным и правильным. Позже я понял, конечно, что допустил преступную небрежность, за которую по условиям военного времени должен был бы ответить перед трибуналом. Вблизи противника завалился спать вместе с бойцами, не позаботившись об организации боевого охранения! Если бы не удалось заставить деморализованных бойцов согласиться нести по очереди наблюдение – сам должен был бы не спать, но нести охранение!

Позволил себе распуститься. Впрочем, при тех настроениях, которые тогда у меня были, нечего и удивляться, что я распустился. Не было желания воевать, не было желания и держаться соответственно требованиям обстановки. Ну, и военная неотесанность еще тоже играла свою роль. Это уж тем доказывалось, что не я один такой был, а много нас таких, лопоухих, в те дни попало немцам в лапы.

Распустившись, деморализовался и сам. Расплата прийти не замедлила. Сколько мы спали? Часа два-три, не больше. Наш сладкий сон в теплом убежище на свежем сене был оборван самым неприятным образом – нас били по ногам палками. Вскочив от дикой боли, ничего не понимая спросонья, мы услышали визгливую немецкую брань, ругань и команду «Rus, rus, Hande hoch!» и увидели направленные на нас автоматы и карабины. Тыча нам палками и дулами карабинов под ребра и в спины, визгливо выкрикивая непонятные нам команды, явно не давая нам возможности опомниться и сразу отрезав нас от ямы, где осталось наше оружие, немцы бегом погнали нас на улицу деревни. Там стояло уже больше сотни захваченных и согнанных в кучу других таких же неудачников, как и мы. Оказывается, десятка два-три немецких мотоциклов с колясками влетело в деревню, не встретив ни одного выстрела, и сами не выстрелив ни разу, и немедленно принялись хватать и сгонять в кучу, как стадо баранов, наших людей. Такова была степень деморализации и полного непонимания действительной обстановки. Вот когда горько сказалась нам наша российская, извечная разболтанность и небрежность. Начало войны… неумение воевать!

Потом, спустя годы, уцелев по прихоти судьбы, получив возможность спокойно думать, читать, вспоминать – я увидел, что

во всех войнах, которые когда-нибудь вела Россия, четко прослеживается начальный период как время неудач. Не сразу раскачивается эта огромная страна, не сразу вскидывается этот великий народ! Как полубылинного, легендарного Ваську Буслаева, его надо расшевелить, обидеть, причинить ему сильную боль, чтобы он встряхнулся, сбросил с себя сонное одурение и, схватясь за оглоблю, принялся крушить своих супостатов направо и налево…

Во всех русских войнах страна наша терпела неудачи в начальное время. Все русские проигранные войны были проиграны не страной, а тогдашними правительствами, которые, приняв первые неудачи за окончательное поражение, прекращали войну и торопливо подписывали невыгодные для страны мирные условия. Во всех выигранных Россией войнах – таких, мы знаем, подавляющее большинство – они выигрывались страной и ее правительством. Когда неудачи начала войны не приводили в панику правительство, когда оно, стиснув, может быть, зубы, превозмогая слабость, продолжало упорствовать в борьбе – страна неизменно преодолевала злополучие начальных дней, недель, месяцев и в конце концов выигрывала войны. Стоит внимательно полистать нашу историю, и эта наша национальная, народная особенность четко вырисовывается на ее страницах.

Но кто-то должен был и страдать от этого. В жизни за все нужно платить – чем-нибудь, да платить. Те, кто попадал в горнило войны с самого начала, им и приходилось отдавать дань исторической неизбежности своими жизнями, потерянными неосторожно, или, как вот мы, пленом, в который угодили глупо.

Все происходило так быстро, с такой кинематографической торопливостью, что казалось каким-то недействительным, сознание заставило поспевать за происходящим. Казалось, что это вроде как сон – вот, сейчас рассеются чары и все станет по-прежнему.

3

То лето было жарким. Ни в июле, ни в августе почти не было дождей над западной частью страны, где развернулась великая битва. Нас на машинах перевезли в Лепель, маленький белорусский городок у небольшого озера. Огороженную забором территорию льнокомбината отвели под лагерь. Каждый день поступали новые и новые толпы бойцов и командиров. Распространились слухи, что командиров будут расстреливать, и многие поддались панике, постарались уничтожить на себе следы петлиц, нарукавных нашивок и затеряться в толпе бойцов. Поэтому в маленьком домике, бывшей конторе льнокомбината у самых ворот огороженной территории, куда поместили нас, командиров, не становилось много теснее с новоприбывшими. Мы видели командиров среди бойцов, уговаривали перестать скрываться, но не все решались присоединиться к нам. Про себя же я решил – будь, что будет! Фронт уже далеко ушел на восток, по рассказам прибывавших пленных, бои шли уже за Витебском, всеобщее крушение казалось неизбежным. Много слышалось ругательных разговоров в адрес нашего правительства, колхозного строя, необоснованных репрессий второй половины тридцатых годов и больше всего – в адрес самого Сталина. Людей, которые относились к нему прямо с какой-то личной ненавистью, оказалось неожиданно много.

Вскоре немцы пригнали около сотни каких-то полу-растерзанных гражданских и загнали их отдельно от всей массы пленных в угол, отгородив сразу колючей проволокой. Это были местные евреи, не успевшие эвакуироваться и не призванные по каким-то причинам в армию, хотя среди них большинство и было по возрасту пригодными к службе в армии по общей мобилизации.

Судьба их оказалась незавидна.

Всем сразу стала очевидна полная обреченность этих людей. Обреченность первоочередная.

В ворота их не вводили – загоняли. Еще правильнее – прогоняли сквозь строй. У ворот встало несколько пар диких фрицев с длинными здоровыми дубинами и нещадно лупили по чему попадя по одиночке прогоняемых через ворота евреев.

Никто из нас, выросших в Советской России после революции, никогда не видел своими глазами подобного обращения с людьми, и зрелище этого бессмысленного злобного избиения ни в чем не виноватых людей было не только потрясающим, но – отвратительным. Это ведь шло в полный

разрез с тем представлением об «освободительной» миссии немцев, которую я себе сочинил и в которую стал верить, и которая, что ни день, то получала новые и новые удары и начала уже трещать, не успев укрепиться. Сразу возникла мысль – а что же ждать еще от этих извергов? Что еще они могут показать нам никогда не виденного нами? Неужели это они способны принести нам замену того, чем мы были недовольны у себя?

А в это время этих несчастных евреев, вогнав в лагерь, продолжали избивать и дальше. Визгливо и гортанно выкрикивая издевательства и брань, уже другие немцы с палками подхватывали свои жертвы и гнали их бегом в дальний угол забора возле самых ровиков с насестами из длинных жердей. Эти ровики рылись каждый день заново рядом, одни возле другого. Насесты никогда не пустовали. На них всегда сидели вплотную одни, рядом стояли в ожидании другие, и ровики, только что вырытые утром, к вечеру уже были заполнены доверху.

Теперь на эту ежедневную работу зарывать заполненные и отрывать новые ровики немцы бросили пригнанных евреев. Кормили ли их чем-нибудь? Какие-то пищевые отбросы кидались им за их проволочную загородку, но что это была за пища – теперь никто рассказать не может. Некому! Судьбу этих обреченных нам довелось проследить до конца.

Население лепельского лагеря росло день ото дня. Вскоре для этих ровиков не осталось свободного места на территории льнокомбината, и немцы, создав команду из пленных, сломали руками одну сторону забора, присоединив к лагерю обширный пустырь, примыкавший к нему с одного бока. Здесь и стали рыть ежедневные ровики. Но не у всех хватало терпения дождаться своей очереди уместиться на длинной жерди. Многие предпочитали справлять свои дела, присев на корточки прямо на землю. За несколько дней вся территория пустыря оказалась густо усеянной следами нашей нетерпеливости.

Настал день эвакуации этого временного лагеря. Пока нас выводили за ворота, строили в колонну и бесконечное число раз пересчитывали, мы видели, как тех евреев, уже шатающихся от слабости и бессилия, как всегда, палками выгнали на пустырь и заставили голыми руками – обязательно голыми, собирать эти зловонные кучки и лепешки и сносить в ровики. Мы видели, как колотили по спинам и головам тех, которые попытались приспособить какую-нибудь дощечку, фанерку или черепок. Никто не сомневался больше, что это последняя – перед смертью – степень издевательства над этими несчастными. Но мы ошиблись.

В конце второго дня нашего пешего марша, когда нас

остановили на ночлег, к нам подогнали группу из 20–30 человек, вид которых был невообразимо страшен. На них болтались какие-то растерзанные лохмотья, на черных лицах виднелись огромные безумные глаза, они стоять могли по трое в ряд, только держась друг за друга, иные с подкошенными коленями еле-еле стояли, поддерживаемые товарищами. С трудом мы узнали в этих полутрупахтех из группы евреев, которую вчера оставили в Лепеле убирать нечистоты на территории эвакуированного лагеря. Большую часть из них немцы забили палками или пристрелили там, на месте или по дороге. Этих, оказавшихся покрепче остальных, заставили догнать нашу колонну.

Еще несколько дней они шли в нашей колонне, впереди нее, отдельной группой; и на ночевках им не позволяли смешиваться с нами. Мы не видели, чтобы их кормили. Чем они оставались еще живы? Как они еще могли идти?

Перед Молодечно, на четвертый или пятый день марша, мы услышали справа от дороги, за какими-то земляными валами, стрельбу отдельными выстрелами и короткими очередями. Кто-то сказал, что бывал здесь раньше, до войны – «Там стрельбище». Значит, там немцев обучают боевым стрельбам. На дороге застряло несколько легковых машин, возле них – много немецких офицеров, сухопарых, вытянутых, словно, проглотивших аршин. Были, видать, и в довольно крупных, старших, чинах.

Нашу колонну остановили. Сопровождавшие нас конвойные немцы вели какие-то переговоры с этой группой офицеров. Переговоры скоро кончились. Мы увидели, как всю группу евреев отвели в сторону от дороги и повели к тем валам, за которыми слышалась стрельба. Судьба их наконец определилась – им суждено было сослужить последнюю службу перед гибелью – изобразить живые мишени для немецких пуль.

Была ли наша собственная судьба лучше той, которая на наших глазах постигла евреев? Если была, то лишь немного.

Нам было плохо. Нас гнали голодом, пешком. Пищи, которую нам давали – кусок плохого хлеба, грамм триста утром, и черпак какого-то неопределенного варева – по вечерам, конечно, было совершенно недостаточно. Люди оставались живы только за счет своих резервов. Мы ночевали большей частью под открытым небом, вповалку на земле. Днем было жарко, ночью прохладнее, но еще не было холодно. К счастью, дожди нас не мучили. Конвои менялись. Они были, как и вечерняя баланда, разные – какой день лучше, какой хуже. Безусловно, нам было плохо. Очень плохо. Но когда мы думали и говорили о «наших» евреях, мы видели – вот кому действительно плохо. Наша судьба не шла ни в какое сравнение с их судьбой.

Находились мудрецы, кто постарше. Они говорили, понуро опустив голову и волоча ноги по пыльной дороге: «Когда тебе плохо – оглянись кругом и посмотри. Обязательно увидишь кого-нибудь, кому гораздо хуже, чем тебе. И успокойся!»

Мне же, помнится, тогда пришло в голову такое соображение. Много уже приходилось слышать всевозможных антисемитских разговоров в самых разнообразных вариациях. Самая популярная из этих «вариаций» – о хитрости, ловкости, пронырливости евреев… Но все сводилось к одному: в благополучной, нормальной обстановке евреи всегда стремятся при равных правах с другими добиваться для себя больших возможностей, и это обычно им удается, особенно благодаря взаимной поддержке, выручке и помощи. Но в природе все сбалансировано! Она не терпит односторонних отклонений!

Если евреям в мирных условиях удается взять от жизни больше, чем другим, то в эпохи потрясений, социальных катастроф и военных катаклизмов именно на их долю выпадают самые тяжкие испытания, именно их судьба оказывается самой ужасной. Эти чаши весов еврейской судьбы так и колеблются уже не одно тысячелетие, и их качания тоже отчетливо прослеживаются в истории всех стран и народов, где существует еврейское рассеяние.

Нас гнали по дорогам Западной Белоруссии. Мы много слышали у себя дома о нищенской панской Польше. Но то, что мы видели – никак не подтверждало наши представления об этой стране. Деревенские постройки были лучше наших – добротнее, просторнее, ухоженнее. Люди – лучше одеты, общий вид всей жизни говорил о том, что в сравнении с нами здесь жили зажиточней. И это еще больше подливало, что называется, масла в огонь. Кто так же, как я, был проникнут антисоветскими настроениями и неприязнью к Сталину, остро подмечали внешние особенности жизни страны, всего полтора года тому назад присоединенной к нашей территории.

Но улицы деревень были безлюдны. Едва завидев на дороге приближающуюся колонну пленных, жители скрывались за воротами своих усадеб, и только иногда из-за оттянутой занавески мы видели чьи-то настороженные глаза. Жители боялись немцев.

На несколько дней нас задержали в Молодечно. Мы размещены были в большой польской казарме, построенной, видимо, несколько лет назад: дом и окружающий прилегающую территорию кирпичный забор были совсем новыми. С верхних этажей казармы, стоявшей на краю местечка, открывался широкий вид на восток. У этих окон всегда можно было видеть

кого-нибудь из пленных командиров, задумчиво глядевших в сторону лесных далей.

Впрочем, здесь впервые мы услышали, что мы не «командиры», а «офицеры». Мы не были первыми, кого разместили в той казарме. До нас там были поселены командиры – и рядовые тоже – попавшие в плен еще раньше нас. Одного из этих ранних пленных, подполковника Гиля, немного говорившего по-немецки, немцы назначили «старшим», и это он, обратившись к нам с «приветствием по случаю нашего прибытия», назвал нас «господа офицеры».

Гилю было тогда, вероятно, что-то от 36 до 40 лет, не более. Он был чуть выше среднего роста, шатен с серыми холодными глазами. Он редко смеялся, но и при смехе выражение его глаз не менялось, они оставались такими же холодными, как и обычно. Его звали Владимир Владимирович. По военной профессии он был артиллерист, а по последней должности – начальник штаба 229-й стрелковой дивизии. В плену – с самых первых дней войны. Говорил он несколько странно – с каким-то акцентом, но правильно. Эти особенности его речи сразу обратили мое внимание, когда он после произнесенного приветствия приступил к изложению правил внутреннего распорядка, которых мы должны держаться, находясь в этом здании. Коренные русские не говорят так по-русски, как говорил Гиль.

Чаще, чем с другими, мне нравилось разговаривать с одним славным парнем. Он был еврей, в звании ротного политрука. Я приметил его еще в Лепеле, где он не присоединился к командирам, а пытался затеряться в толпе пленных. Но с его выраженной семитской внешностью это было сделать нелегко, немцы углядели его и насильно втолкнули в группу командиров уже в момент отправки из Лепеля. Почему тогда они «пощадили» его, не заставили разделить судьбу его гражданских соотечественников, я не знаю, просто предполагаю, что дело было в военной форме. Немцы тогда еще сами не знали, как относиться и как поступать с евреями в командирской военной форме. Очень скоро они разобрались и в этом «затруднении», и их поведение во всех случаях в отношении евреев стало одинаковым: уничтожать всех подряд.

Не запомнил фамилию того политрука – Гольд… (Гольдман, Гольдштейн, Гольдберг…). Он сознавал свою обреченность – еврей, да еще политрук, – никаких надежд на спасение не было. Но хоть и с грустью, но бесстрашно ждал он своего часа. Разговаривая со мной, оживлялся, шутил и даже смеялся. Из многих тысяч людей, прошедших мимо меня в жизни, этот несчастный человек остался у меня в памяти.

Он-то и шепнул мне, что Гиль – белорусский еврей, отсюда и его странный акцент. Позже и от других, знавших Гиля по службе, я слышал то же самое.

Когда пришли за нашим политруком, он встретил достойно свой час. Ему дали возможность обойти всех, с кем он захотел проститься. Мне он оставил свой котелок и ложку – своих у меня не было. Вместо котелка я пользовался каской, которую подобрал на одном из привалов. Уводили его спокойно, без издевательств, а что было с ним дальше – никому из нас не стало известно.

Гиль помещался вместе с группой приближенных командиров отдельно от остальной массы. Он занимал особое помещение из двух смежных комнат, куда вход нам был запрещен. К моему удивлению, среди этой группы «приближенных» я увидел двух командиров из нашего полка – капитана Коновалова и старшего лейтенанта Тимофеева. Я ломал голову, каким образом они очутились здесь раньше нас, и не смог этого никогда узнать. То время было временем множества загадок самого противоположного свойства. Коновалов был добродушным, в сущности, парнем, и, встречаясь со мной и другими знакомыми командирами, непринужденно болтал, пересуживал и нашу судьбу, и общее положение, высказывал при этом полную убежденность в неизбежной скорой победе немцев. Тимофеев же высокомерно избегал таких контактов и лишь едва кивал головой, встречаясь в коридорах казармы с кем-нибудь из старых знакомых по полку. Это быстро подметил наш бывший полковой адъютант, лейтенант Васильев, заядлый курильщик, ближе нас всех знавший Тимофеева по полку. Он специально караулил, когда Тимофеев проходил по коридору, и обязательно бросался к нему с просьбой дать покурить, называя того по старой памяти по имени. Тимофеев корчился от назойливости и фамильярности Васильева и отвечал грубостью, которая, однако, никогда не обескураживала Васильева. При следующей встрече все повторялось снова, так что уж наши ребята, едва завидев Тимофеева в коридоре, предупреждали Васильева – «Тимофеев идет!». И тот сломя голову кидался в коридор на перехват своего бывшего друга.

Тяжело привыкалось к голоду. Кормили нас по-прежнему: кусок хлеба, «пайка» – утром, черпак баланды вечером. Только хлеб выдавался целыми кирпичами, сначала – один кирпич на шестерых, потом – на семерых. «Шестерки-семерки» образовались спонтанно, вполне демократически выбирался один, кому доверялось это таинство – резать хлеб и развешивать пайки. Это было далеко не простое дело, особенно когда хлеб был урезан. И потому, что его урезали, значит, усилили голод, и потому, что число паек стало нечетным, делить хлеб стало труднее. Все

хлеборезы обзавелись собственными весами: на веревочке подвешена за середину деревянная струганная палочка – коромысло. С концов коромысла свешиваются на веревочках же две другие маленькие заостренные палочки – их втыкают в пайки хлеба при взвешивании. Одна из паек выбиралась за эталон, все другие подгоняли к весу эталонной пайки с помощью довесков – добавляемых и отрезаемых. Это самая деликатная часть работы, в которой обязательно принимает участие вся семерка. Каждый старается навязать свое мнение другим – от какой пайки отрезать, к какой прибавить. Нет-нет да и вспыхивает перебранка голодных, теряющих самообладание и достоинство людей.

Но вот пайки нарезаны, сбалансированы, разложены на матраце.

– Кто кричать будет? – спрашивает хлеборез.

«Кричать» – это называть фамилию того, кому отдать пайку, на которую покажет хлеборез. «Крикуна» на каждый день семерка выбирает нового – чтобы не возникла возможность коварного тайного сговора между ним и хлеборезом.

– Ну, кто крикун сегодня? – снова спрашивает хлеборез.

Крикун отделяется от своей семерки, отходит чуть в сторону, становится спиной.

– Кому? – спрашивает хлеборез крикуна, показывая на пайку.

– Васильеву, – отвечает тот.

Чудак, весельчак, балагур Васильев не упускает случая подурачиться и здесь. Он бережно берет пайку с матраца, подносит ее к одной щеке, другой, нежно целует ее со всех сторон, потом укладывает ее на левую согнутую руку, как ребенка, и, пританцовывая, отходит к окну.

«Кому?» – слышится из другого конца комнаты от другой семерки.

«Шлеме», – отвечает тамошний крикун. Шлема – младший лейтенант, здоровенный украинец, с которым я был за год до войны вместе на курсах комсостава запаса. Про себя он говорит: «Я не украинец, я – хохол». Мы были с ним в одной роте на курсах, и вот снова пришлось встретиться здесь в плену, в Молодечно. Он тоже из породы тех неунывающих, которые бывают так нужны среди людей, объединенных каким-нибудь общим делом. Когда дело не ладится и уныние и упадок духа готовы совсем развалить и угробить все, хорошо, если найдется такой человек, как Шлема, который вовремя вставленным словцом, анекдотом, а то и просто смешной ужимкой смогут разрядить обстановку и вернуть людям бодрость. Со Шлемой я не раз наблюдал это летом сорокового года тогда, на курсах.

Он никогда не пререкался по поводу того, кому нести станок

от пулемета «Максим» – удовольствие сомнительного свойства, от которого все хотели отвязаться. У нас ведь не было постоянных пулеметчиков, мы были на курсах, и мы обязаны были проходить и знать все стадии и ступени строевой и стрелковой службы. Когда в казахстанскую жару, обливаясь потом на пыльной степной дороге, мы шли, едва волоча ноги от усталости, Шлема вдруг густым басом, полу-по-русски, полу-по-украински, говорил: «А вы думаете, хлопцы, чому ж я так люблю таскать цю станину? А я мечтаю, что я бабу свою таскаю на спине. Жинка у меня дюже грузна баба…» Хохочут «хлопцы», и легче становится идти дальше…

Осенью сорокового, когда кончился наш срок пребывания на курсах, сводили нас в последний раз в баню за девять километров от нашего расположения, построили после бани для обратного марша и вдруг объявили – курсы продляются на неопределенный срок, так что, курсанты, насчет дома оставьте ваши надежды…

Не вздох, а стон пошел тогда по рядам вымытых, распаренных курсантов. Мы шли в лагерь, как похоронная процессия, так мрачно и уныло было у каждого на душе. И тут, помню, Шлемин голос где-то на середине дороги сказал громко, на всю колонну:

– Эх, братцы, а я-то дурак, отбил телеграмму своей бабе: «Топи баню, спинку мой, командир едет домой!»

Общий хохот прокатился по колонне и как-то полегчало на душе, не таким мрачным показалось и будущее. Очень полезны такие люди, как Шлема.

4

Мы шли, теряя товарищей, усеивая проселочные дороги Западной Белоруссии безвестными могилами павших. Голод и изнурение ежедневно уносили жертвы.

Первым командиром из наших полковых ребят мы потеряли лейтенанта Васильева. Его погубила неодолимая привычка. Он не мог, бедняга, преодолевать в себе тягу к куреву, как наркоман, потерял всякую волю к борьбе с этой пагубной страстью. Половину своей ежедневной пайки он обязательно «прокуривал», т. е. выменивал на нее у кого-нибудь, кто имел, табачишко на одну закрутку. Он быстро худел, слабел, прямо таял на глазах. На привалах с лихорадочным блеском в глазах он шнырял среди пленных с полпайкой в руке, выискивая, кто может ему продать на хлеб курева. На мои попытки образумить его он или не обращал никакого внимания, или просто отмахивался – «все равно ведь пропадем, не видишь сам разве?» – говорил он на мои увещевания.

Раза два мне удавалось подбирать с земли брошенные немцами недокуренные сигареты, окурки, собственно, и никогда бы я не наклонился поднять эту гадость, но зная, как убивается из-за них Васильев, я поднимал их для него. Он пытался всучить мне свой хлеб, но у меня доставало характера не соблазниться этим бесценным эквивалентом. Но помощь моя оказалась бесполезной – все равно он прокуривал свою полпайку, стараясь добыть и вторую закурку в тот день, когда добывал даровую.

Люди везде разные. На конвойных мы видели это не раз. Мы идем вдоль канавы, заполненной чистой, незамутненной, совершенно прозрачной водой. Жара, пыль. Пить хочется нестерпимо, во рту сухо, губы высохли коркой, а вода совсем рядом, не более метра. Пленный, совсем мальчик, выскакивает из строя, чтобы черпануть котелком этой безумно желанной воды. Резкий, одинокий выстрел, как удар бичом над ухом. Парнишка упал ничком, головой в воду, вытянутая вперед рука с котелком тоже в воде. Хорошо видно, как струя крови начинает расходиться от головы в прозрачной воде. Немец молча, не глядя на нас, щелкает затвором, досылая новый патрон в патронник своего карабина. Колонна молча идет мимо, лишь некоторые оглядываются. Кто-то сказал: «Напился…»

В деревне, на краю которой оказался большой сарай, командиров загнали под крышу, остальных – в стороне, на улице. Из сарая выходить нельзя, в воротах ходит часовой. Он уже немолод, поглядывает на нас как-то без злости. Я решаюсь

заговорить с ним. Оглядываясь, не видит ли его кто-нибудь из своих, он отвечает мне, что он – австриец, из Вены, и эта гитлеровская война ему не нужна. Прохаживаясь поперек вороте винтовкой наперевес, он все время оглядывается вокруг и вдруг, к полной моей неожиданности, быстро выхватывает из сумки, висящей на ремне, полную пайку хлеба и так же быстро и незаметно сует ее мне в руки и сразу же отходит в другой конец ворот, и оттуда начинает громко кричать на меня, чтобы я не подходил близко к воротам. Я поспешил ретироваться со своей неожиданной счастливой добычей. До конца своей вахты он успел еще две пайки всунуть двум другим пленным, потом отогнал их криком от ворот, как и меня.

В местечке Юратишки нас остановили на базарной площади на ночлег, прямо посреди местечка. Нас принял новый конвой, в какой-то незнакомой ярко-зеленой форме совсем другого покроя, чем у немцев. Скоро выяснилось, что дальше нас поведет отряд, сформированный немцами из литовцев, националистов, примкнувших к немцам в первый же день войны. Еще до ночи началась гроза. Хлынул дождь. Единственное место, где можно попытаться укрыться от потоков холодной воды – базарные торговые столы. Бросаемся занять под ними места. Конвойные литовцы вскакивают на столы с длинными палками и бьют ими по спинам не умещающихся под столами, приговаривая: «А-а, л-любезные командиры!»

В самой середине Западной Белоруссии есть местечко Острына. Пришлось там ночевать одну ночь на поле за крайними домами, но название это запомнилось на всю жизнь. Утром, выведя на дорогу, нас долго строили в колонну. Для чего-то командовали короткие, в 10 шагов, подвижки вперед, потом останавливали. Так делали несколько раз. Конвойные бегали вдоль колонны, что-то примеряя, что-то прилаживая. Потом команда крайним в рядах поднять с земли какие-то палки. Оказалось, что мы очутились внутри загородки из колючей проволоки, которую сами должны и нести на себе! Сразу соображаем, впереди, значит, будет тесная дорога через лес, боятся побегов, вот и придумали такую загородку. Чтобы бежать из строя, надо поднырнуть под нижнюю нитку колючки, она в полметре над землей. Быстро это сделать нельзя. Конвойный заметит и успеет выстрелить.

Впереди действительно виднеется лес. Кто-то говорит: «Беловежская пуща», еще кто-то поправляет – «Налибокская». Прикидываю в голове свои знания географии и думаю – ни та, ни другая. Потом, спустя годы, на карте нашел это место, действительно, тот лес был от Беловежья на северо-восток, а от

Налибокской пущи – на северо-запад, а как он назывался, так и до сих пор не знаю. По узкой дороге втягиваемся в лес. Сзади вплотную за колонной следует грузовик, на крыше кабины немец с ручным пулеметом, по бокам конвойные продираются между кустами и проволокой впритык. Густые заросли подступают вплотную к дороге. Дальше за ними – стены глухого смешанного леса. Ничего не видно. Конвою, если стрелять, то только вслепую. Условия для побега – идеальные. Нырнуть под проволоку в кусты, и был таков! И действительно – началось! Стрельба, крики, ругань и угрозы конвойных. Колонну останавливают, с машины немец пускает для устрашения несколько очередей над нашими головами, рассыпая пули веером по кустам, сшибая и круша ветви и листы.

Снова идем, опять побеги, стрельба и вопли ярости конвоя.

Через час-полтора выходим на поляну, к деревянному мосту, дорогу нам пересекает небольшая лесная речонка Котра, как написано на табличке у моста. За рекой на живописном пригорке два жилых дома лесного кордона. Противоположный берег речонки за мостом перед домами – зеленый, чистый луг, спускающийся к реке, у самой воды – 2–3 метра полоса песчаного пляжа. Вода чистая, речка неспешная, под мостом за сваями легонько завихряется. Нас переводят через мост и усаживают на лугу перед кордоном.

Подходит унтер-офицер из конвоя с двумя солдатами. Предлагает собрать котелки и идти к реке за водой. «Вода, вода, катлок», – говорит он. В голосе – ничего угрожающего. Вскакивает много желающих. Каждому хочется пройти к чистой воде, напиться вволю, плеснуть на лицо, на голову, наполнить свой котелок. Я тоже вскакиваю, у меня фляга с остатками противной теплой воды, которую я утром сумел набрать из бочки. Отсчитывают 20 человек, я не попал в число счастливых удачников и понуро возвращаюсь на свое место. Даже флягу не удалось пристроить никому. Мы с завистью глядим вслед двинувшейся группе… Ее окружили солдаты конвоя и повели к воде. Мы смотрим.

Ребята вошли в воду, наклонились и стали зачерпывать – и тут… резкая, пронзительная команда «Фойер» – «Огонь!». Треск автоматных очередей, винтовочные выстрелы, и мы видим, как те, кому мы две минуты назад горячо завидовали, эти счастливчики, валятся в воду. Одни ничком, сунувшись головой вперед, другие, успев выпрямиться, обернуться, и прогнувшись назад, валятся навзничь. Тут же несколько очередей в нашу сторону, над головами. Слышен шелест пуль, режущих воздух.

Начальник конвоя, фельдфебель, через переводчика, солдата-

немца, говорящего по-польски и немного по-белорусски, кричит, ругается и грозит, обещаясь расстрелять в десять раз больше, если хоть один еще сбежит из колонны во второй половине пути. По немецкому обычаю, первый привал делался после первой половины пути, второй – на середине второй половины…

Подъем, опять долгая возня с загородкой. Дальше в путь. Побегов больше не было. Всех потряс ужас и бессильная ненависть к немцам.

В тот солнечный полдень на берегу Котры излечился я от одной из своих болезней – перестал верить в немцев. Что они принесут нам свободу от большевизма. Не могли они нам ее принести и не собирались. Свой звериный лик завоевателей, а не освободителей они уже успели показать нам за эти первые недели плена полностью.

Но первая, главная моя «болезнь» владела мною по-прежнему. «Домой», к своим, – для меня это значило «назад, к Сталину» – меня никак не тянуло. И не только не тянуло в силу старых неприязней, но еще и потому, что не верил я в возможность такого возвращения. Я твердо знал, что Сталин и выученные им его слуги не умеют ничего ни прощать, ни понимать… Их свирепость выражается только в других формах, чем у немцев, но по сути они так же беспощадны. Немцы хоть бьют чужих, а наши… наши бьют своих! Вот почему мысль о побеге я и не вынашивал, хотя побег и можно было, при большом желании, осуществить.

Кто слабел раньше? Большие и сильные, те, кто в мирной жизни ходили в здоровяках и крепышах. Всякие дохлые, вроде меня, выдерживали дольше. Спустя несколько недель, когда было пройдено голодом более полтысячи километров, я все еще не чувствовал, что трачу последние силы, еще мог идти и дальше, когда уже многие и многие остались там, позади и навсегда, других везли на подводах (это были уже последние 4 дня марша, когда двигались по территории, присоединенной немцами к рейху), третьи еле-еле тащились. Затем – курильщики, прокуривавшие свой хлеб, вроде нашего полкового адъютанта лейтенанта Васильева. Он и был первой жертвой среди командиров из нашего полка – на одном из привалов я никак не мог найти его среди пленных, чтобы отдать ему третий окурок, подобранный мною после немца. Наконец, мне сказали, что еще накануне Васильев отстал где-то между Ивье и Лидой.

Судьба ослабевших и отставших была проста и ужасна. Их пристреливали. Один из задних конвоиров оставался около свалившегося, обессилевшего пленного. Когда хвост колонны отходил метров на 200 – слышался одинокий выстрел, потом

топот сапог догонявшего немца. Чем дальше шли, тем чаще раздавались такие выстрелы. С конца колонны постоянно слышались крики конвойных и удары прикладами и палками по спинам пленных, потому что в хвосте постепенно скапливались те, кто начинал терять силы и отставать, хвост растягивался, и это приводило в ярость задних конвойных. Помогали начинавшим слабеть только тогда, когда рядом в строю оказывались люди, знавшие друг друга до плена, товарищи по прежней службе. Такое случалось далеко не всегда. В большинстве – каждый был предоставлен самому себе.

Прошли разбитую бомбежками и боями Лиду, прошли Гродно, поразившее нас красотой Немана и костелов. Приближалась государственная граница. В колонне много людей, служивших здесь до плена, общее оживление перед приближением к Сопоцкино.

Прощай, Родина! Все оглядываемся назад. Пограничных знаков на дороге нет никаких, их уничтожили немцы, но справа и слева видны недостроенные мощные ДОТы, железобетонные громадины с зияющими темными амбразурами, еще не закрытые землей. Не видно следов боев.

Удивительно было изменение в поведении конвоя. Прекратились брань и угрозы. Появились подводы мобилизованных поляков. На эти подводы грузили ослабевших и заболевших пленных. Их больше не расстреливают, а везут за нами. Четыре дня такого марша. Питание несколько улучшилось. Вечерняя баланда стала с крупой и гуще.

Прекратились обманы с хлебом. Несколько раз в дороге нас обманывали – утром выводили на марш, не выдав хлеб, говорили – вечером получите. На привале новый конвой, приняв нас, говорил, что ничего не знает, должны были получить утром.

Со вступлением на собственную немецкую территорию пришло и похолодание. Ночи стали холодные. Я попал в плен с минимумом личного скарба. Все наличное имущество можно было перечислять с помощью единиц первого десятка: трусы, майка, солдатские брюки, гимнастерка, портянки, сапоги, носовой платок и фляга. Больше ничего, даже пилотки не было. Потом подобрал каску, служившую вместо котелка, политрук оставил на память ложку и котелок, каску можно было бросить. Ее сейчас же подобрали для продолжения дальнейшей службы в том же качестве, что она была и у меня. Еще я раздобыл мешок, и, когда бывал редкий дождик, укрывался им, как плащом. Пилотка и скатка мои остались там же, где и оружие – в яме на огороде той деревни, где меня взяли в плен.

Пришлось подумать о шинели и о пилотке, дальше так идти

было нельзя, главным образом из-за холодов ночью. За пайку хлеба раздобыл шинель. Еще раньше дал пилотку сосед по строю – у него их было две – за окурок, который я когда-то поднял для Васильева. Того не стало, а окурок пригодился. От ночных холодов находили спасение чисто русское – разводили костер на большой площади (дрова подбирали везде, где можно – и где не можно, тоже), костер прогорает, остатки гасятся, жар разгребается, почва остается горячей. Спим на кострище, как на печке. С вечера даже жарко. Опять нам везло – дождей не было.

Вошли в какие-то прекрасные, чистые, ухоженные сосновые и еловые леса с многочисленными каналами. Отовсюду слышу: «Августовские леса, здесь в четырнадцатом году шли бои». Скоро увидели и памятное место тех событий. На поле возле дороги вдруг возникло неожиданно типичное русское сельское кладбище. Березки вдоль покосившейся деревянной ограды, множество деревянных, наклонившихся и совсем упавших православных крестов, маленькая деревянная часовенка за воротами на кладбище. По арке над воротами резными деревянными буквами славянской вязью надпись: «За Русь-матушку, за царя-батюшку».

Немцы остановили колонну. Сделали десятиминутный привал. По рядам говорок: «Мы сдохнем, нам такого кладбища никто не сделает…» Прекратились разговоры о еде. Все говорили только о первых днях и неделях «той» войны, которая, как и «эта», начиналась так несчастливо для России…

Через два дня закончился наш скорбный марш поперек всей Белоруссии.

Впереди показались Сувалки…

Без малого сорок лет прошло с того дня. Едва ли многие из тех, кто плелся тогда в одной колонне со мной, уцелели еще. Может быть, я и единственный… Слишком много прошло лет, и еще больше было возможностей не уцелеть. Кто из нас думал тогда о чем-нибудь другом, кроме того, что наконец-то прекратится это мучительное шагание и мы получим отдых. Каким он будет, этот «отдых» – нам не дано было знать, конечно. Для многих, слишком многих, этот «отдых» превратится в вечное «отдохновение».

Не думал я и о том, что много-много лет спустя, вспоминая, как гнали нас немцы в сорок первом пешком и голодом, подгоняли палками и прикладами, придется мне невольно сравнивать этот этап с другими маршевыми этапами, пройденными мною самим или рассказанные писателем.

Пожалуй, знаменательно, что как уход с Родины, так и возвращение произошли для меня по этапу. Я покинул Родину в

колонне военнопленных, 40 дней прошагав в ней более полутысячи километров от белорусского города Лепель до восточно-немецкого (тогда) городка Судауэн (Сувалки). Я вернулся на Родину, проехав 40 дней этапом в «Красном эшелоне» поболее 4 тыс. километров от центрально-немецкого города Тортаудо крайнего северо-восточного городка европейской России – Воркуты.

Глава III

1

Уже два дня, как по колонне шел слух, что нас ведут в Сувалки. Говорят, что узнали от поляков-возчиков, обоз которых с ослабевшими пленными на повозках ползет за нами. Что за Сувалки? Никогда не слышал я такого города. Укорил себя за то, что недостаточно занимался географией западных областей Российской империи. Впереди идет пожилой пленный, из мобилизованных с начала войны. Слышу, как он говорит соседу: «Сувалки – бывший губернский город Царства Польского, входившего в состав Империи». Вот оно, оказывается, что.

Лес кончился, и внезапно открылась обширная равнина. Впереди был виден город, небольшой, с несколькими костелами и двумя-тремя православными церквами и группой больших красно-кирпичных домов в центре.

– Николаевские казармы, – сказал опять тот же пленный. – В первую империалистическую бывал здесь…

Остальной город – деревянный, одноэтажный. К северу от окраины города, километрах в трех, виднеется гряда невысоких холмов, явно моренного происхождения, а на поле между этой грядой и крайними домами города показались вышки по углам и вдоль периметра огромной площади, огороженной высокой проволочной оградой.

Стало ясно – это и есть постоянный лагерь, куда нас вели и гнали больше чем пятьсот километров.

Еще пришлось пройти по городу, по булыжным мостовым мимо притихших домиков, по обезлюдевшим улицам. Выйдя на северную окраину городка, мы увидели прямую дорогу, ведущую к большим воротам лагеря с решетчатой аркой над ними. Подойдя ближе, прочитали надпись по вывеске на арке: «Offlag-68».

– Что такое «Offlag»? – спросил меня сосед по ряду.

– Не знаю. Может быть, офицерский лагерь, «Offizier lager» по-немецки. Так у нас рядовых гораздо больше, чем командиров, – ответил я.

Между тем нас заводят партиями в какую-то «предзону» – пространство, отделенное от головных ворот еще другой оградой из колючки, только пониже. Ряд за рядом пропускают вперед для обыска. Несколько немцев, новых, не тех, что нас вели последние сутки, видимо, местных, из охраны лагеря, рыскают по рядам, кого-то выискивают. Скоро выясняется, кого они ищут – евреев!

По одному выдергивают из рядов всех, кто кажется им подозрителен. Тех, кто сомнений по их мнению не вызывает,

пинками и прикладами гонят в отдельную группу, в стороне от обыскиваемой колонны. С удивлением видим, как туда же попадают некоторые кавказцы, очевидно, принятые немцами тоже за евреев, из-за своей черноты…

Мой кривой нос вызывает подозрение. Немец, выдернувший меня из ряда, все-таки не уверен – нос кривой, блондин, глаза голубые.

– Mutter? Fater? – кричит немец.

– Dolmatscher! – зовет он переводчика, хотя я и так понимаю, что он спрашивает.

Мне странно слышать эти вопросы, как будто я не могу соврать что угодно, если это будет надо для спасения жизни? Ведь документов нет. Впрочем, есть.

У меня сохранился паспорт. Военкомат, направивший меня на прохождение учебного сбора, и не подумал отобрать паспорт, и он был у меня на всякий случай с собой. Там написано, что я – русский.

Показываю немцу паспорт, тычу пальцем в строчку «национальность». Немец тупо смотрит на страничку, что-то бормочет, перелистывает паспорт, вдруг сует мне его в руки, кричит: «Hose!» Штаны, значит. Понятно. Еще один паспорт посмотреть надо. Ну, тут у нас все в порядке, волноваться нечего. Исполнено. Получаю тычок в спину и лечу к своим. Русским. Украинцам. Белорусам. Но евреи… А также те кавказцы, которых приняли за евреев… Ведь «паспорта»-то у них, те, что в штанах, у многих, которые мусульмане, одинаковы с еврейскими…

Всех заподозренных сразу оцепляют и уводят раньше нас через главные ворота, а там направо. В «арест-блок», как мы узнали позже.

Нас тоже группами, подгоняя криками, а кого пинками, заводят, вернее, загоняют через ворота в лагерь, там нас встречают дюжие молодцы в отличном нашем комсоставском обмундировании с белыми повязками на левом рукаве и голубыми буквами «РО» на этой повязке. У каждого в руках ременная плетка или здоровая палка. Этими орудиями они непрерывно шуруют по нашим спинам, нельзя понять – для чего. Это же наши, свои, русские! В лагерной полиции, так надо понимать эту голубую «РО» – «Polizei», они состоят!

Нашу группу командиров принимает отъевшийся, широкорожий, тупорылый парень, в расшитой шелком украинской сорочке, подпоясанный командирским ремнем с портупеей, в новеньких синих галифе и наблещенных «хромовских» сапогах. Его рожа кажется мне что-то очень уж знакома. Где я его видел? Откуда я его знаю? И вдруг узнаю – это

же Сенька Коваленко, ездовой из нашего полка. Возил воду на полковую кухню, сидя верхом на бочке. Последний человек в полку. Здесь он – среди первых… Как он попал сюда раньше нас?

Не надо попадаться ему на глаза. Не надо признаваться, что узнал его. Ну его к черту, он – гад, от него можно ждать чего угодно. Сенька ведет нас за собой. Сзади еще два его помощника орудуют плетками по спинам в задних рядах.

Оглядываюсь по сторонам, стараюсь разобраться во внутренней планировке лагеря.

Сразу за воротами – широкий проход между низкими проволочными оградами в рост человека. В каждой ограде – небольшие воротца во внутреннее огороженное пространство. Налево за оградой – несколько больших брезентовых палаток, как полотняные сараи, таких мы еще и не видывали. На воротцах надписи: «Lazarett Block». Направо такие же по площади огороженные пространства. Там стоят два-три барака, собранные из щитов. Такие мы уже кое-где встречали по дороге, немцы успели для себя поставить, если не было близко подходящего жилья. На воротцах надпись: «Offizier Block». За бараками вдали виднеются какие-то непонятные сооружения из колючей проволоки, разобрать нельзя, далековато. Это «Arest Block» узнаем позже. Стараюсь охватить все глазами, запомнить – может, понадобится.

Кончается этот проход между лазаретом и офицерским блоками, и открывается широкая прямоугольная пустая площадь, Appel platz – опять узнаем позже название этого места. На эту площадь выходят ворота жилых блоков, участков территории лагеря, отгороженные друг от друга колючей проволокой в один ряд. На всей этой огромной территории видно только одно строение с широкой квадратной кирпичной трубой – кухня. Слава богу, не крематорий.

Но что же не видно никаких строений на участках жилых блоков? Понурые фигуры истощенных пленных стоят за загородками и смотрят на нас, вновь прибывших, и молчат. Где же они живут? Сейчас мы узнаем, где они живут. И мы тоже будем жить так же.

Нас запускают в блок № 13.

2

Мы живем в норах. Как троглодиты. Норы мы выкопали сами: крышки от котелков, ложки, какие-нибудь дощечки и черепки, наконец, собственные когти – вот наш шанцевый инструмент. Копать нору нужно обязательно. Во-первых, ночью становится холодно, кончился август, да и дождики начинают перепадать. Во-вторых, ночью никто не должен находиться на поверхности земли на территории блока. С вышек всю площадь лагеря непрерывно шарят прожекторами и по каждой появившейся фигуре открывают огонь.

Первую ночь те из наших, кто не нашел себе пристанища в готовой уже норе, едва не полегли под огнем, не успев до конца дня отрыть себе нору. Прятались в недорытых норах, за отвалами земли, кое-как, издрожавшись от холода, голода и страха, дотянули до утра.

Нора – это нора. Дыра в земле, чтобы пролезть, яма глубиной по плечи человеку среднего роста. Внизу – колоколообразное расширение, чтобы двое или даже трое – не больше! – могли лежать на боку, поджав ноги. Выпрямиться негде. Размер ямы строго ограничен пределом прочности кровли. Если сделать «колокол» больше, чтобы можно было лежать врастяжку – кровля не выдержит, обрушится. Почва легкая, супесчаная, копается легко, после того, как пройдет верхний дерновый слой, но и непрочная. Толщина «кровли» сантиметров 60 около устья, к краям ямы, конечно, больше. Днем мы бьем вшей, сидя на солнышке у входа в свою нору. Как суслики. Мы голодны, грязны, злы и раздражительны. Да, мы живем, как жили троглодиты. Но все-таки это не мы – троглодиты. Это они, победители, завоеватели, со своей расхваленной европейской культурой и есть истинные троглодиты, существа с психологией и философией пещерного периода. Они считают нас нелюдьми, они обрекли нас на существование хуже скотского. Они приравняли нас к диким лесным зверям. Именно лесным, потому что о домашних животных человек трогательно заботится. А кто заботится о нас? Вот старший полицейский блока Сенька. В полку не было человека, стоявшего по иерархии ниже Сеньки Коваленко, ездового при полковой кухне, привозившего воду и отвозившего на свалку кухонные отбросы. Здесь в блоке нет человека выше его. Здесь он – первый.

Самый первый. На нем блестящие, с напуском, гармошкой, комсоставские хромовые сапоги. Он говорит «хромовские». Белая расшитая сорочка и галифе. Широкий командирский ремень с

портупеей и белая повязка с голубыми буквами «РО» – полиция. И конечно, в правой руке искусно сплетенная, сужающаяся к концу, заканчивающаяся узлом метровая ременная плетка. Символ власти, орудие расправы и даже казни. Вот кто о нас заботится.

Заботится в том смысле, как бы не прозевать, у кого отнять что-нибудь можно, а если будет нельзя, то и убить. Он жирен. Он беспощаден. Он – садист. Это была моя первая в жизни встреча с этим патологическим типом людей – садистами. Можно целый век прожить с человеком и не узнать, какова его истинная, внутренняя сущность, та, которая и составляет его действительную натуру. Сколько потом я наблюдал людей, которые в обычной, нормальной жизни ничем не выделялись, были маленькими и незаметными. Но вот наступали особые, по-теперешнему говоря, экстремальные условия – и происходила резкая дифференциация и поляризация людей. Одни становились героями, почти святыми, и последующие поколения воскурят фимиам их памяти, другие же сделаются такими, что даже слово «негодяй» ничего не скажет об их истинной сути, потому что нет в человеческом языке слов, однозначно определяющих всю их мерзость. Таким вот и оказался наш ездовой Сенька, которого я помнил по полку, когда он разъезжал на своей бочке.

Я все думал – как он не попал в мою роту? Наверное, дезертировал в первый же день, когда мы стояли в лесу под Идрицей, и попал в плен раньше нас, или и сам пошел навстречу к ним.

Нельзя было попадаться ему на глаза. Он все время ищет жертву, чтобы исполосовать ее своей плетью, сбить с ног, а потом пинать и топтаться. Особенно же опасен он был для тех, у кого сохранились вещи, имевшие хоть какую-нибудь материальную ценность: сапоги, ремни, гимнастерки, фуражки. Часы – это уже была совсем большая редкость и ценность необычайная. Все, что можно продать полякам, приезжающим в лагерь вывозить трупы. Продать за табак, за сало и за водку.

У Сеньки сеть шпионов. Они выслеживают «богатых». Начинается выторговывание присмотренной вещи за горсть махорки, за пайку хлеба. Если не удается – вымогательство под страхом смерти.

Самое мучительное – ночи в норе. От голода – бессонница. Вши – мучители, которых, хоть и можно уничтожать, но бесполезно. Сколько их ни бей – не делается меньше. Они беспокоят не тем, что кусают, а тем, что ползают. Лежим втроем на боку, поджав ноги. Спим в шинелях, чтобы не так холодило от земли. На дно ямы постелить ведь нечего. Какую-то тряпку нашли, прикрываем ею устье норы, прижав по краям камнями,

чтобы не сдуло ветром. В норе тепло, когда уляжемся все трое и закроем дыру. Но на одном боку не пролежишь долго, бок затекает, а переворачиваться нужно обязательно всем, по очереди, чтобы опять оказаться всем на боку, теперь уже – на другом. Иная поза невозможна. Поэтому сон в течение ночи много раз прерывается и в том случае, если и удается уснуть. Еще эти проклятые вши ползают по спине, между лопатками, и достать почесаться никак невозможно. И еще одна неприятность – каждое движение, а переворачивание – особенно, вызывает падение струек песка с кровли. Песок сыплется в уши, в глаза и за шиворот. Так проходит ночь. На наше счастье выдалась сухая осень. Дождей совсем мало, и ни одного серьезного, иначе мы потонули бы в наших норах, остались бы совсем без всякого крова. Благословляем небо, что оно сжалилось над нами хоть в этом.

Утром стараемся не подниматься раньше, чем пробьет в рельс немец на аппельплаце. Это сигнал становиться на утреннюю проверку перед раздачей «кавы». Это такой напиток, мятный чай можно его назвать, потому что в котле на кухне заваривают мяту. Распаренные листочки этой мяты попадаются в наших порциях «кавы» и съедаются, конечно. Кава чуть-чуть сладкая. Сахар полагается, но его воруют на кухне.

Бак с кавой уже стоит у ворот, но ничем не прикрыт, от него идет пар, и кава остывает. Полицейские с плетками бегают по блоку, лупят всех без разбору, а уж от тех, кого они вытаскивают из нор, зазевавшихся, прямо пух летит во все стороны – так беспощадно их избивают. Людьми овладела апатия, полное равнодушие к своей судьбе. Поэтому добиться дисциплины, чтобы все собирались поскорее к этой проклятой проверке, никак не удается. Одни уже пришли и стоят понуро, другие еле-еле тянутся, нога за ногу, а третьи и не думают вылезать из нор, хотя знают, что все равно их вытащат, да еще и изобьют. Много проходит времени, пока всех соберут, полицейские обегут норы, сосчитают умерших за ночь в норах, потом начинается построение. Ослабевшие и телом, и духом, и умом люди не держат ряды, сбиваются, путаются. Счет не сходится. С руганью, криками и побоями пересчитывают снова. Кава давно уже остыла, никакого пара не видно над баком, когда начинают ее раздавать. Хотя польза от этого напитка сомнительна, а для людей, уже начинающих пухнуть от голода («голодный отек»), и вредна как излишняя жидкость, все же никто от нее не отказывается, даже начинается драка, когда раздатчик будет разливать остатки на добавку. Обязательная добавка полагается тем, кто ходил с баком на кухню. Откуда-то известно, как воруют сахар повара на кухне.

Сахар в котлы бросает немец, старший повар. Повара из наших – ему помощники. Сахар в котле оседает на дно. Один наш повар с мешалкой вроде весла идет вслед за немцами и этим веслом начинает мешать в котле, чтобы перемешать сахар. Однако делает это он так, что сахар, осевший на дно, так там и остается. Немец отходит дальше, и другой повар, тоже из наших, подскакивает с ведерком к крану и быстро выпускает в него сахарную жижу со дна котла. В котле остается та небольшая доля сахара, которая успела раствориться или осталась тонким слоем на дне, не успев утечь в поварское ведерко.

Ничего не скажешь, наш брат, русский человек, очень изобретателен и ловок в области всякого мошенства.

Слышал я рассказ и о воровстве маргарина, тоже из котлов. Какое-то количество маргарина полагалось закладывать в котлы. Иногда слабые-слабые звездочки жира мы видели в том вареве, которым нас кормили в обед, можно было предположить, что жир нам полагался. Но он до нас не доходил. Механика была та же, что и с сахаром. Повар-немец не затруднял себя разворачивать пачки маргарина. А у немцев маргарин был в килограммовых пачках кубической формы. Так этими кубиками он и летел в котел, не развернутый. Немец переходил от котла к котлу, один из наших поваров волок за ним следом коробку с маргариновыми пачками, другой следом шел с черпаком, которым он делал вид, что перемешивает в котле, а на самом деле ждал момента, чтобы выловить маргарин и выплеснуть его в ведерко, подставленное третьим помощником.

Не могу допустить, чтобы изо дня в день повторяющееся гнусное жульничество оставалось незамеченным немцами. Надо быть уже совсем лопухами, чтобы этого не видеть, тем более что ежедневно. Думаю, что видели, и – попустительствовали. Пускай эти русские своими собственными руками морят друг друга. Одни воруют и обжираются – этих немного, несколько десятков человек. А другие благодаря этому воровству дохнут с голоду – этих тысячи, как раз то, что нужно немцам. Тут механика тоже была предельно проста.

В обед – черпак баланды, ужасного варева, которое не станет есть свинья у хорошего хозяина. Черпак – консервная банка на палке емкостью 0,8 литра. Состав баланды: вода, сваренная в ней нечищенная брюква, турнепс и иногда картошка. Маргарин – украден. Если бы хоть мыли как следует, а то ведь так с грязью и землей и бросают в котел. Пожирается все до конца.

После раздачи – свалка у раздаточного бака за право вымыть бак. Тому, кто смог захватить это право, достанется возможность пальцами собрать со стенок и со дна бака те остатки, которые еще

могут там прилипнуть.

Ужасное, отвратительное и скорбное было это зрелище свалок у бака после раздачи. Тут же рядом с раздачей была бочка с водой, где можно было вымыть котелок и ложку и заниматься мытьем своей посуды после еды. Я иногда наблюдал эти картины превращения людей в зверей под влиянием нечеловеческих условий существования.

На днях в «Литературной газете» была помещена маленькая заметочка в ответ на публикацию тех двух книг в Англии о выдаче русских, уклонявшихся от репатриации насильственно в Советский Союз. Там процитированы были слова одного английского офицера, который из немецкого лагеря для английских военнопленных с возмущением и негодованием смотрел на ряды русских в военной немецкой форме, отступающих в сорок четвертом году вместе с немцами перед натиском советских сил. С британскими понятиями о чести никак не вязалось, чтобы военнослужащий мог надеть вражескую форму и оказаться в одних рядах со своими бывшими противниками. Это благородное негодование тем более легко в себе разжигать, когда ни разу в жизни не только самому не пришлось испытать ни настоящего голода, ни даже видеть людей, доведенных голодом и лишениями до потери человеческого лица.

Эх, господа, господа, одно только можно сказать: «Не судите, да не судимы будете! И молите, хоть иногда, Господа Бога, чтобы миновала и вас «чаша сия», чтобы не пришлось и вам когда-нибудь хлебнуть хоть частицу того, что выпадало на долю русского человека, дома ли, на чужбине ли…» Англичане в немецком плену были лишены только одного – свободы, но ни голода, ни холода, ни утеснений с бытом, ни потери связи с родиной и семьями не испытывали. И немцы к ним относились иначе, чем к нам, и Красный Крест в отношении их исполнял свой долг. Так вам ли судить, господа, нас, людей, уцелевших по воле случая и судьбы в условиях, обрекавших нас всех на поголовную и мучительную гибель? Одну из причин, способствовавших тому, что я не погиб тогда, выжил и дотянул до более благоприятного поворота в своей судьбе, я вижу в том, что, обладая природной выносливостью, способностью большой адаптации, «двужильностью», я еще и никогда не терял способности ясно понимать, что в погоне за лишней ложкой гнусной баланды, ценой полной потери человеческого образа, спасения от гибели не найти. Не спасешься тем, что, придавив до полусмерти двух-трех обессилевших людей, дорвешься первым до опорожненного бачка и сможешь с остервенением, давясь, проглотить неразжеванные куски брюквы и турнепса, еще оставшиеся на дне

этой вонючей посудины. Поэтому никогда не лез «шакалить», даже желания не испытывал к такому занятию, хотя голод и терзал мои внутренности до такой степени, что возникали галлюцинации: стоило чуть-чуть забыться, и виделся домашний, материнский стол, уставленный бесчисленной снедью, я ем, ем, и – странное дело – не могу наесться, чувство голода и ненасытимости никак не пропадает. Проходит мгновение, наваждение исчезает, и снова безрадостная действительность предстоит перед глазами.

Вечером – опять поверка, с полным повторением всего, что происходит по утрам, только днем умерших меньше бывает, и это несколько ускоряет подсчет и сборы. Затем – самое главное: раздача хлеба. Хлебная пайка граммов 250, ну – 300, не более, к ней кусочек маргарина, граммов 5–7 и иногда столько же густого повидла, мармелада, как его зовут немцы. Хлеб с маргарином и особенно когда с мармеладом воспринимается уже как лакомство. Хлеб мы не едим – мы с ним священнодействуем! Одни едят его маленькими кусочками, откусывая по крошкам, другие, наоборот, не в силах удержаться, проглатывают мгновенно, кое-кто пытается пересилить себя и заставить съесть только половину пайки, а вторую половину оставить на утро для «кавы». То тут, то там виднеются огоньки маленьких костерков, разожженных из щепочек кое-кем специально для поджаривания хлеба. Возле костерков на корточках сидят пленные и, насадив кусочек хлеба на палочку, медленно поворачивают его в слабом огне. Большинство делает это не из гурманных побуждений – считается, что поджаренный хлеб, как и сухари, обладает крепящим действием, и таким путем надеются остановить начавшийся понос.

Солнце село, день закончен, пробили в рельс отбой, мы все, как суслики, один за другим лезем в свои норы. Сразу договариваемся, на какой бок ложиться будем сначала, потому что в норе не будет возможности выбирать позу. Первые двое укладываются вдоль стенок норы, оставляя в середине место последнему. Среднее место достается каждому по очереди. Последний еще должен, стоя на дне ямы, приспособиться, приседая постепенно и осыпая лежащих песком и землей, прикрыть отверстие норы тряпкой и закрепить ее камнями. Под стоны, вздохи, чертыхания и матюгания он тоже спускается наконец на свое место. Некоторое время еще каждый возится на своем боку, стараясь улечься поудобнее, но с осторожностью – проклятый песок сверху сыплется даже от чихания, не только от неосторожных движений. На короткое время, пока бок еще не устал и пока вши еще не расползались по успокоившемуся телу,

возникает ощущение даже удовольствия, почти блаженства. Голод чуть-чуть утих, в норе тепло, лежать уютно и можно забыться, погрузиться в небытие, уйти от ужаса, который нас окружает.

Но вот сосед завозился. За ним другой. Один просит перевернуться, бок у него уже затек. Другой говорит, что еще рано. Возникает спор, он может перейти в перебранку. Дело решает третий голос. У меня тоже начинает затекать бок, я голосую «за». После переворачивания – осторожного, медленного – уже не спится никому. Опять гложет в желудке, опомнились ненавистные вши, мы дергаем плечами, локтями, мешаем друг другу. Постепенно возникает тихий разговор. Громко в яме говорить не приходится, звукам негде теряться, слова, сказанные совсем тихо, полушепотом, хорошо слышны.

Мы все трое из одного полка, из одного города и даже с одной улицы. Это уж получилось чисто случайно, но это-то обстоятельство и сблизило нас больше всего. Мы выяснили это, уже когда нора была нами выкопана и мы проспали в ней несколько ночей. Когда мы узнали, что живем так недалеко друг от друга, то почувствовали, что ближе нам здесь нет людей, мы – вроде как родственники, и даже ссоры по обычным пустякам перестали возникать. Сначала вспоминаем наш город, нашу улицу, пытаемся припомнить, не встречались ли когда-нибудь на ней в те далекие-далекие (два месяца назад) мирные времена… Впрочем, они двое узнали друг друга и до войны, речь идет только обо мне. Одному кажется, что он меня видел, я не помню…

Постепенно разговор переходит на наше положение – кто виноват, что так все случилось. Дружно сходимся на том, что виноват Сталин, этот проклятый усатый грузин, доведший страну до такого поражения.

О том, виноваты ли мы сами хоть сколько-нибудь, мы не догадываемся спросить друг друга. Потом принимаемся ругать советскую власть: за колхозы, за недостатки, за драконовские законы. Мои товарищи значительно старше меня, лет на 15–20, они помнят еще старое, оно идеализировано, как все прошедшее, и на фоне пищевого изобилия ушедших времен относительная ограниченность наших недавних дней кажется абсолютной.

Совершенно непроизвольно, сам собой, разговор переходит на еду – «голодной куме все хлеб на уме». Мы уже забыли, как только что ругали советскую власть за недостаточность продовольственных товаров и продуктов, и друг перед другом предаемся хвастливым, возбуждающим воспоминаниям, кто, как, что и сколько ел. Вспоминаются любимые блюда, кулинарные рецепты, но главное – количество! Мы все кажемся друг другу

героями Рабле, так, оказывается, мы часто, много и вкусно ели.

Слушая своих товарищей, я вдруг вспоминаю, что ведь первые дни плена о еде никто почти не говорил. Главной и любимой темой мужских разговоров, когда много мужчин собирается вместе, в наши времена была тема о женщине. Самые бесчисленные вариации на эту тему приходилось слышать и в мужских комнатах студенческих общежитий, и в армии, и вот теперь, в плену, в начале его. Но это длилось недолго. Скоро как-то незаметно стали забываться женщины, многочисленные победы и связи, действительные и мнимые, случавшиеся в жизни и сочиненные.

Место женщин в разговорах постепенно заменила еда. Ни думать, ни говорить больше ни о чем не могли пленные.

Перебрав все возможные варианты общих интересов, перевернувшись еще раза два-три с боку на бок, под утро наконец мы засыпаем коротким неглубоким сном.

3

Тот день выдался очень хорошим. Кончилось бабье лето. Прозрачные солнечные дни были не редкостью, и по утрам, после поверки и кавы, сотни голых по пояс фигур виднелись в каждом блоке. Пленные били вшей в своих рубахах, пользуясь последними днями солнечного тепла.

И мы в то утро присоединились к общей охоте, почти соревнуясь друг с другом, кто больше набьет. Поговорили о тщетности таких способов борьбы со вшивостью, как охота за ними в белье. Сколько ни убивай, через несколько дней опять столько же будет.

Потом ребята пошли поискать, не удастся ли где-нибудь достать курнуть разок-другой, а я немножко подремал в норе до обеда. После побоища, которое я устроил своим врагам, они дали мне возможность поспать немного.

Получив баланду, расправившись с ней, мы еще посидели немного наверху, у своей норы, греясь на солнышке – тощие наши тела очень чувствительны стали и к теплу, и к холоду. Товарищи мои всякие дела совершали вместе, вдвоем. Между собой они были теснее связаны, чем со мной. Раньше, еще до меня, встретились друг с другом, были ближе один другому по возрасту, по роду занятий (бухгалтер и плановик), по образовательному уровню. Эта их большая близость друг другу нисколько не мешала им относиться ко мне хорошо и не будила во мне никаких чувств ревности и обиды. Сложились ровные и простые отношения, и мне было легко с ними.

– Ну, Леонид, твоя сегодня очередь котелки мыть, ты не забыл? – сказали они мне. – А мы немного поспим, пока ты ходишь. Захочешь потом залезть – буди, не стесняйся. А то разоспимся, опять ночь спать не будем.

И залезли один за другим в нору. А я собрал все три котелка, ложки и отправился к бочке с водой.

Отошел я метров 15–20 от нашей норы, лавируя между другими норами и сидящими у них скелетистыми фигурами, как увидел впереди прямо на меня бегущего пленного. За ним гнался с плеткой в руке один из младших полицейских, помощников Сеньки. Пленный в чем-то провинился, видно, и правосудие, в лице этого полицая с плеткой, неотвратимо его настигало. Встреча с полицаем лицом к лицу в подобной ситуации могла грозить самыми непредвиденными последствиями, поэтому я быстро отскочил в сторону, пропустив мимо себя пробежавшего запыхавшегося пленного и настигавшего его полицая.

Оглянувшись вслед бегущим, я заметил, что они пробежали в сторону нашей норы. Сцена эта была обычной, такие погони полицейских за своими жертвами мы видели ежедневно и, нисколько не удивившись, я отправился дальше своей дорогой. Не спеша вымыл котелки, встретил еще знакомого по полку, посидел с ним, поговорили мы о наших обстоятельствах, обменялись тем, кто что слышал: говорят, Москва уже взята, но мира не будет, пока до Урала не дойдут, до зимы домой уедем, только бы сейчас не загнуться. Таким порядком мило провели мы время часа полтора, и я засобирался «домой». Даже по отношению к норе слово «домой» употреблялось всеми без малейшей иронии.

К своему удивлению, я никак не мог найти нашей норы. Вообще-то находить свои норы было не так уж просто, все мы запоминали какие-нибудь местные, близлежащие особенности рельефа, всякие неровности почвы и по ним находили свои норы, но сейчас было что-то непонятное. Вроде пришел я на свое место, а норы нет. Я стал ходить кругами, вызывая подозрение у дальних соседей, меня не знающих в лицо. Все относились друг к другу очень подозрительно, если не были знакомы. Опять возвращался на старое место, по всем признакам наше – но норы-то нет! Сколько бы продолжалось это наваждение – трудно сказать, но из соседней норы показался парень, наш знакомый, и спросил, чего я стою такой, не понять что? Я сказал, что нору свою не могу найти.

– Вот чудак. Да ты у норы и стоишь-то! – ответил парень.

Тут только я увидел, что верно ведь, я у норы и стою, вот и тряпка наша, только почему-то присыпана землей, и почва как бы опустилась несколько, и отверстия не стало видно. И страшная догадка, как штыком, пронзила мне сознание. Нора-то обрушилась! А там ребята спали! Я закричал. Из своих нор высунулись соседи. Я бросился разгребать обвалившуюся землю. Подошли соседи. Они сохраняли спокойствие и невозмутимость. Картины гибели людей проходили перед нашими глазами ежедневно, и если это не был какой-нибудь особо близкий человек, то и не вызывали никаких особенных впечатлений. Для меня же это была прежде всего потеря товарищей, с которыми сблизился, потом потеря норы, шинели, пилотки (они оставались в норе). Потеря всего, что как-то поддерживало существование. Не только потеря товарищей, но и угроза собственной гибели, казавшейся теперь неизбежной, казалось, раздавили меня в одно мгновение.

Я продолжал руками разгребать землю, но сил не было, очень скоро я почувствовал, что мне не докопаться одному, соседи стояли и не помогали копать, только обсуждали случившееся,

высказывая уверенность, что уже давно не живы там, в норе. Кто-то высказал догадку, я и забыл сам тоже догадаться.

– Это давеча полицай гнался за кем-то, как раз тут пробежали, я видел, вот они и обрушили нору.

Конечно, это было так! Это они обрушили нору, пока еще я шел к бочке, да потом мыл котелки неспеша, да болтал сколько, а ребята за это время, конечно, задохлись.

Кое-как упросил я соседей помочь докопаться хоть до тел, убедиться – живы, нет ли. Это было трудно сделать – упросить. Сил ни у кого не было, каждый берег эти последние силенки, мы долго разгребали верхний дерновый плотный слой, а там дальше легче пошло. Докопались до уже окоченевших тел, они укрыты были моей шинелью, это помогло хоть мне не остаться совсем раздетым на ночь. Пилотку я нашел в кармане, это, видно, они еще засунули, чтобы мне потом искать не надо было. Так я лишился сразу и друзей, и крова и снова остался один.

День кончался, приближалась поверка, раздача хлеба, потом скоро и отбой, надо было подумать и о ночлеге. Копать новую нору было некогда, да и не было в этом нужды. Можно было поискать и найти пустую нору, брошенную бывшими хозяевами. После того, как двое умирали, третий искал потом прибежище еще с кем-то, норы пустели.

Я отправился на поиски свободной норы, последний раз поглядев на своих друзей, так и оставшихся лежать недовыкопанными в нашей норе. Сегодня придут вечером полицаи с немцем, поглядят, отметят, а завтра придет команда копателей, отроют и отнесут трупы к бричке, поляк отвезет их куда-то за лагерь. Только что были, и вот не стало. Вдруг пришла только сейчас догадка – а если бы не моя была очередь сегодня мыть котелки? Я бы там лежал после обеда? Тогда… так бы и лежал там до сих пор, как эти два моих несчастливых друга.

Как все-таки судьба играет нами, людьми, какие мы пешки в ее руках…

Скоро я нашел нору, показавшуюся мне пустой. Оглядев ее, я заметил, что она меньше нашей, троим там не поместиться, но я один, мне больше и не надо.

Я только приготовился опуститься в нору, чтобы примериться в ней, как услышал:

– Эй, эй, куда лезешь! Это моя нора!

Я поднял голову. К норе скорым шагом шел какой-то парень с угрожающим лицом.

– Ну, твоя, так твоя, пойду искать другую, – сказал я. В том состоянии только что испытанного сильнейшего потрясения и полной физической изможденности у меня не было ни энергии,

ни сил, ни желания за что-нибудь бороться. Я стал вылезать из норы и с трудом подниматься на ноги.

– А что, у тебя нет норы, что ли? – спросил парень. Я рассказал ему сегодняшнюю беду свою и моих товарищей. Он свистнул.

– Слышал я сегодня, ребята болтали, да я думал так, враки. Оказывается, это на самом деле было, – и он длинно и образно матюгнулся в адрес полицаев. Действительно ведь, вина за эти смерти лежала на полицае, который гнал пленного, вынужденного бежать, не разбирая дороги.

– Слушай, я тоже один остался, напарник у меня помер уж неделю, одному спать холодно, оставайся, вдвоем теплее будет, – предложил мне мой новый знакомый.

Сначала я очень обрадовался и сразу согласился. Но потом постепенно пришла тревога. Лагерный бандитизм в самых различных формах уже начался. Вспоминались рассказы о заманивании в норы доверчивых одиночек, об их ограблении, убийствах… У меня еще вполне приличные яловые сапоги, шинель – за них могут… Но не подаю виду, что встревожился.

Укладываясь спать на ночь, решаюсь насторожить все внимание, чтобы не прозевать момент нападения. Но скоро вижу – опасения напрасны. Мой новый напарник – парень простой и смирный и сам всего боится, потому и остался один, ни к кому не прибился. Меня тоже боится, пока не проверил, думает, кажется, зачем пожалел, пустил в свою нору чужого человека.

4

Недолго мне пришлось прожить в этом новом сообществе. Хозяин норы был мне каким-то чужим человеком, с утра он уходил, взяв с собой котелок, и до вечера я его не видел. Потом он рассказывал мне, что каждый день пытается попасть в команду, которую набирают на кухню на разные работы, и иногда это ему удается. Там можно вволю наесться брюквы и турнепса, иногда и горячего подбросят. С собой он никогда ничего не приносил. Говорит, немцы обыскивают и беспощадно избивают тех, у кого что-нибудь найдут. Может быть и так. Ничего удивительного.

На меня нашла апатия. Потеря товарищей подорвала мои душевные силы, и я, несомненно, погиб бы, если бы и дальше все оставалось без перемен. Бороться за себя у меня уже недоставало сил.

Спасение пришло неожиданно.

Каждый день по утрам из лазарет-блока приходил санитар за больными, которые накануне записывались на прием к врачу. Никогда не думал я идти в лазарет-блок, не видя никакой непосредственной причины для этого, но однажды случайно оказался у ворот нашего блока в ту минуту, когда санитар выкрикивал по списку записавшихся накануне больных. Голос показался мне знакомым, а когда я вгляделся, то, к полному своему удивлению, узнал в этом санитаре одного из пом ком взводов стрелково-пулеметного сбора, которым я командовал в военном лагере. Я подошел к нему и окликнул. Тот оглянулся, вгляделся, узнал и радостно ко мне бросился – чем тоже удивил меня, так как никакого человеческого контакта за время моего краткого командирства у меня с ним не возникало.

Наскоро расспросив меня, что и как со мной, он сказал, чтобы я сегодня же записался у дежурного полицая на прием к врачу в лазарет-блок, а завтра он придет и заберет меня отсюда.

Ловкий парень, он раньше нас оказался в Сувалках, сразу сумел приткнуться к лазарету и теперь не только считает себя спасенным, но еще может и облагодетельствовать. На другой день я попадаю в лазарет-блок. Мой бывший подчиненный подводит меня к высокому, худому военврачу Евдокимову, с сумрачным лицом, но добрыми глазами, под сильными очками с положительными диоптриями и даже вроде бы с гордостью говорит ему:

– Вот, Иван Андреевич, мой бывший командир, я вчера говорил вам!

Военврач улыбнулся мне, кивнул и спросил:

– По-немецки писать можете? Нам писарь нужен, немцы требуют учет вести принимаемых больных и записывать их латинским шрифтом, чтобы немцы читать могли. Можете это делать?

– Конечно, могу, – ответил я.

– Ну, так оставайтесь здесь. Оформим вас на сегодня больным, а завтра я через штабс-артца в штаб лазарета вас введу. Как ваша фамилия, имя, отчество?

Я назвался.

– Вам не надо идти в блок за какими-нибудь вещами? Лучше туда не возвращаться…

– Нет, у меня все с собой, – ответил я.

– «Omnia mea mecum porto…» – улыбнувшись опять, сказал военврач. – Поняли, что я сказал?

– «Все свое ношу с собой», – быстро перевел я известную латинскую пословицу.

– Вот и прекрасно. Меня зовите по имени-отчеству: Иван Андреевич. Вот вам тетрадь, сейчас начнем прием, вы сразу и начинайте записывать. Немцы требуют такие данные. Фамилия, имя. Отчество им не надо. Год рождения. Подробный и точный домашний адрес. Зачем им домашний адрес наших больных – черт их знает. Штабс-артц приказывает – надо делать. Буквоеды они и бюрократы, ну, а нам это на руку – можно еще одного человека на писарском деле приспособить.

Так вот опять совсем неожиданно случился новый поворот в моей судьбе, на этот раз – счастливый.

Сразу, без всякой подготовки и перехода стал я работать писарем у русского главного врача лазарета Ивана Андреевича Евдокимова.

Мой неожиданный новый шеф оказался очень хорошим человеком. Отличительными чертами его были молчаливость, неторопливость, спокойствие во всем. Больными он считал всех пленных и «госпитализировал», как теперь говорят, не в зависимости от состояния больного, а в соответствии с наличием свободных мест в лазарете. Если в день приема группы больных мест было достаточно – всех записывал больными и оставлял лежать в лазарете. Здесь хоть и немного, но лучше было, чем в блоке.

Его отношение к немцам тоже можно было охарактеризовать словом «спокойное», но спокойно-скептическое. Кончался сорок первый год, успехи немцев на фронте были велики и очевидны. Евдокимов посмеивался сквозь очки: «Цыплят по осени считают».

– Так ведь уж осень, Иван Андреевич!

– Не последняя…

Он запомнился мне как образец достойного поведения человека и гражданина. Как сложилась его судьба потом – не знаю.

Со своими новыми обязанностями я освоился в первый же день. Они были просты до примитивности. Необходимость записывать фамилии, адреса больных тоже повергла меня в удивление – ну за каким чертом немцам нужен домашний адрес больного пленного, киргиза, родом из какого-нибудь Катта-Талдык аила Ошской области Киргизской ССР? А таких было много.

Меня поселили в палатке для санитаров и обслуги. Вторая палатка – для врачей и фельдшеров. Спим на соломе, прямо на земле. В палатке много холоднее ночью, чем в норе, я отвык от простора вокруг себя и притока свежего воздуха, и мне никак не спалось первую ночь. Из разговоров с моими новыми знакомыми по лазаретной обслуге выясняю, что им никому не пришлось ни одной ночи провести в норе, они сразу попали в эту палатку и об условиях существования в блоках знают только по рассказам больных и многие считали эти рассказы преувеличенными. Пришлось их уверить, что нисколько не преувеличено то, что им раньше рассказывали о том, что творится в блоках.

Для больных – четыре огромные, как сараи, брезентовые палатки. Больные там – вповалку. Врачебная помощь – мизерная. Лекарств нет. Перевязочных материалов – очень мало. Много хирургических больных: с незажившими ранами, со всевозможными абсцессами от ничтожных царапин, просто расчесов в условиях полной антисанитарии.

Асептических средств так мало, что они применяются в самых редких, только осложненных случаях, анестезия, если и применяется, то только местная. В большинстве случаев хирурги режут без всякой анестезии под дикие вопли больного и совсем уж дикий хохот присутствующих санитаров.

Скоро, освоившись и оглядевшись, начинаю материть этих дураков-санитаров, как умею, чтобы хоть немного ввести их в рамки не то что лечебной, но человеческой этики, просто сострадательности. Особенно любит производить такие операции доктор Барзиков, бывший военный зубной врач из сопоцкинского укрепрайона. Он здесь идет тоже в хирургах.

Мало-помалу начинаю отъедаться. В лазарет-блоке голода нет – для обслуги, конечно. Главврач Евдокимов говорит, что если обслуга лазарета будет голодать, то лазарета не будет, он не может существовать: одна переноска тяжелых больных и трупов умерших сколько требует сил у санитаров. Поэтому проблема

достаточного питания в лазарете была решена так.

Численность всех находящихся в лазарете больных и здоровых сообщалась немцам вечером, умершие за сутки с предыдущей проверки показывались живыми, продовольствие на показанную численность получали утром следующего дня, лишние порции шли персоналу. Позже, когда вся обслуга уже отъелась, образовывались остатки пищи, которыми можно было подкармливать и некоторых из больных – тяжелых, а также тех, кто помогал работать: мыть полы, топить печи и т. п. Для больных, поступавших днем, продовольствие доставлялось отдельно вечером. На списочный состав лазарета они поступали только на другой день, поэтому в день поступления они в вечерней сводке не показывались. Составление этих сводок было тоже моей обязанностью, и механикой манипулирования этими цифрами я тоже овладел быстро – к удовольствию Евдокимова, которому до меня приходилось заниматься такими делами самому.

К концу октября, когда уже стало совсем холодно и по лазарету резко увеличилась смертность явно из-за холода, убивавшего ослабевших больных, немцы выстроили на территории лазарет-блока сборно-щитовые бараки. Нас удивила скорость, с какой эти бараки были построены. Делали немцы из военной строительной организации. К концу третьего дня строительства мы все уже переселились из палаток в бараки. Для персонала был построен один барак на две половины. В одной поместились врачи и фельдшера, в другой – обслуга. Для больных было построено 4 больших барака, поставленных по периметру квадратной площади. Обслуге дали двухэтажные деревянные кровати и матрацы из бумажной немецкой дерюги, набитые опилками. Эта дерюга была очень холодной и скользкой, спать на ней было очень неуютно. Больные до декабря валялись на соломе на полу, только перед новым годом в бараки для больных были завезены двухэтажные деревянные кровати.

Перед наступлением зимы в блоках были выкопаны землянки длиной 30, шириной 6 метров. Стены обшили неструганым тесом. Внутри землянок, вдоль, нары в два этажа, нижний – совсем низко над землей. Еще остававшиеся в живых пещерные жители из нор перебрались в эти землянки.

Спуск в землянку по лестнице прямо с улицы, без всякого тамбура. Посредине железная печка. Тепла, конечно, не хватает на всех. Поэтому постоянно драки за места у печки и поближе к печке. На каждую землянку – полицейский, обладающий абсолютной властью. Поэтому в блоках неслыханный разгул произвола и садизма. Пленные в землянках совершенно

беззащитны и беспомощны.

Единственное место, где можно укрыться от этого произвола и насилия – это лазарет-блок. Здесь спокойно. Никаких свалок и драк при раздаче пищи. Строго соблюдаемая очередность в раздаче добавок.

И не действует эта подлая немецкая система, придуманная, конечно же, для скорейшего истребления возможно большего числа людей: ежедневно, теперь уже три раза перед раздачей кавы, баланды и хлеба выгонять всех до одного из землянок, за исключением только умирающих и лежащих в агонии и без сознания на нарах. Никакая стужа и непогодь не отменяют эту выгонку, осуществляемую полицаями с помощью плетей и палок. Наоборот, выгонятелям еще любее, когда на дворе непогода.

На холоде, на ветру, дожде, под снегом, морят часами под видом бесконечных проверок и пересчитываний, построений и перестроений. При этом избивают по всякому поводу и просто без повода. После каждого такого построения перед землянками оставались тела потерявших последние силы или уже умерших людей. Другие умирали в землянке, еле-еле дотащившись до своего места на нарах.

Вшивость достигла чудовищных размеров, на каждом пленном сотни, может быть, тысячи вшей. Ни у кого не было никаких собственных сил бороться со вшами. Все пленные в блоках прекратили всякое сопротивление этому обступившему их со всех сторон абсолютному злу во всех мыслимых и немыслимых формах и, опустив руки, совершенно отупев и полностью физически обессилев, ждали каждый своего часа.

Главный врач Евдокимов говорил: «Тиф голодный, тиф холодный, тиф военный. Готовьтесь к тифу. Он скоро начнется». При том уровне завшивления, который создался к концу осени сорок первого года в лагере военопленных в Сувалках, тиф не мог не возникнуть и не охватить, как пожар, весь лагерь. В бараках для больных лазарет-блока на дощатом полу вши трещали под сапогами, как песок. На умирающих и агонизирующих людях вши вылезали на поверхность кожи лица, покрывали лицо сплошной шевелящейся маской, шинели и одежда покрывались вшами сплошь, именно кишели, не в переносном, а в прямом, буквальном смысле слова. Вши стали предвестником приближающейся смерти. Если человек должен был умереть через несколько часов, его вши начинали вылезать наружу, и видя человека, еще живого, еще в полном сознании, и даже с улучшившимся самочувствием – а это был обязательный последний подарок уходящей жизни, улучшение самочувствия перед близким концом умирающего от истощения – по которому

поползли его вши, полезли из бровей на веки, из усов, бороды, и волос – на щеки и лоб, с белья на гимнастерку, штаны и даже на шинель – это было несомненным признаком скорой смерти. А у обреченного, между тем, почувствовавшего облегчение, появлялась надежда на спасение, он испытывал радость, последнюю радость в жизни. И только вши, эти отвратительнейшие из живых существ земли, показывали на тщету и бесплодность этих последних надежд. Еще иной раз находились и бессмысленно жестокие соседи, уже не считавшиеся ни с чем человеческим: видя эти грозные знаки приближающегося конца, говорили обреченному:

– Ты сегодня умрешь. Из тебя вши полезли.

В крайних степенях истощения люди представляли собой почти только скелет, обтянутый кожей. Мышечных тканей почти не оставалось. Это были люди без ягодиц. Как объяснял Евдокимов, ягодичные ткани расходовались не получающим достаточной пищи организмом в последнюю очередь, когда уж все основные резервы были истощены. Поэтому человек без ягодиц – человек почти обреченный, очень мало надежды на возвращение его к жизни, кроме того, если и удастся такого спасти – в его организме произойдут неизбежно биологические и физиологические сдвиги, он уже не будет тем человеком, каким был раньше, это будет человек уже другого психофизиологического типа.

Но подлинным индикатором неминучей смерти были глаза, вернее – открывавшиеся белки глаз вокруг всей радужной оболочки. Глаза начинали казаться как бы изумленно раскрытыми, вытаращенными. Когда это появилось – спасения быть уже не могло. Как объяснил мне Евдокимов, самый последний резерв подкожной жировой клетчатки оставался под веками вокруг глаз. Когда организм расходовал это самое последнее, окончательное резервное депо – кончалось все. Внешне это и было заметно как эффект «вытаращенных глаз».

Больных, поступавших просто с большой степенью истощения, мы кое-как спасали. Тепло, покой, паек, хоть и скудный, но доходил до больного полностью, еще и добавки перепадали, и люди поправлялись. Хуже было с действительно больными. На фоне такого всеобщего истощения организма самое ничтожное заболевание – смерть.

Главных болезней две: дистрофический понос и сыпной тиф. Дистрофия, дошедшая до стадии, при которой кишечник не усваивает никакую поступающую в него пищу, почти неизлечима в наших условиях. Немногие из таких дистрофиков выздоравливают, а те, кто вырывается из лап смерти, обязаны

этим в первую очередь резервам своего организма, которые пришли в действие в несколько лучших условиях лазарета, но не благодаря нашему лечению, которого почти и не было. Угольные таблетки – вот и все лекарство, которое отпускали нам немцы для лечения дистрофических поносов.

Но вот появился еще и тиф, уже давно ожидавшийся нами по предсказаниям нашего шефа, доктора Евдокимова. Он начался как-то незаметно тем, что стало увеличиваться число больных, поступающих в лазарет с высокой температурой. Через несколько дней, после появления характерной сыпи на больных, Евдокимов определил, что это «долгожданный» сыпной тиф. Число тифозных больных росло катастрофически. Немцы срочно, опять за несколько дней, построили для тифозных изолятор из шести отдельных бараков позади нашего лазарет-блока, обнесли их колючей проволокой, в воротах поставили будку с дежурным полицаем – конечно, с плеткой – и приказом – ни туда, ни оттуда никого, кроме поименованного персонала лазарета, не пускать.

Одного за другим приводил я в тифозный изолятор всех знакомых по своему полку. Оттуда – никого не встретил. Сам заболел тифом под новый год. Евдокимов распорядился не отправлять в тифозный изолятор больных из персонала. Мы все, заболевшие, остались на своих местах. Евдокимов лечил нас сам, колол камфару и применял все, что мог. Меня спас, но половина из заболевших работников персонала умерли. Опять та же закономерность – смертность от тифа выше среди людей физически крепких, сильных, раньше никогда ничем не болевших. Люди, перенесшие в прошлом много разных болезней, более стойко переносили тиф и умирали меньше.

Вообще же от тифа умирало, наверное, процентов 80, а то и больше из числа заболевших.

Дошел тиф и до немцев. Вот тогда-то они и забегали, организовали изолятор. Объявили лагерь на полном карантине. В воротах установили «ежи», как будто без этих «ежей» кто-нибудь мог из лагеря выйти. Вывод на работу из лагеря рабочих бригад был прекращен. Сами немцы в лагерь перестали заходить. Продовольствие подвозили к воротам лагеря и передавали отъевшимся поварам и полицейским. В лагерь мог въезжать только поляк, вывозивший трупы на огромной пароконной бричке. Борта брички высокие, решетчатые, в бричку грузилось 40 трупов, поэтому они складывались штабелями по 40 штук в каждом вдоль главного проезда и по аппельплацу. Было несколько таких периодов: в конце сентября, когда кончилась теплая погода и наступили первые осенние холода, в начале ноября, когда ударили первые холода и заморозки, и в середине

декабря, когда эпидемия тифа достигла своей вершины – во время которых число умерших достигало 500 и даже 700 человек за сутки, а эти чудовищные поленницы из голых, замороженных скелетов, обтянутых кожей, с раскинутыми в сторону руками и ногами, с раскрытыми черными ртами и замерзшими глазами, десятками тянулись одна за другой по аппельплацу, и поляк не успевал вывозить.

Человек способен привыкать ко всему. Привыкли мы и к этому зрелищу. Ни вид этих ужасных поленниц из человеческих трупов, ни их число уже не вызывали никаких эмоций и переживаний. Всем казалось, что так и должно быть, раз кругом такие условия.

5

Тиф вместе с голодом и холодом сделали свое черное дело – унесли тысяч двадцать людей. Но было и еще одно бедствие, не столь роковое по многочисленности жертв, но отвратительное по своей сущности.

В сентябре сорок первого распространился бандитизм в лагере. Образовались шайки лагерных бандитов, пытавшихся выжить ценой жизни своих товарищей. В нормальных условиях существования эти люди никогда не стали бы бандитами, но в том нечеловеческом состоянии, в которое привел их немецкий плен, они ими стали.

Методы действия таких бандитских шаек были однообразны. Они заманивали к себе в норы намеченных одиночек с помощью подсылаемых зазывал, угощавших хлебом, куревом, обещавших путь к спасению. На краю гибели от истощения люди становились легковерными и наивными, как дети, и легко поддавались грубому обману. В их психике происходили несомненные сдвиги в сторону инфантильности. В отношениях друг с другом они вели себя именно по-детски – ссорились из-за самых нелепых пустяков, плакали слезами, если у них сосед забирал себе какую-нибудь ничтожную тряпку или щепку, обессилевшими вялыми руками пытались бить друг друга, не причиняя один другому ни малейшего вреда. Также по-детски, беззлобно и естественно мирились, не помня недавней ссоры. Обманывать таких несчастных и погибающих людей не составляло никакого труда тем, кто решился выжить сам за их счет.

Завлеченный в нору, где было двое бандитов, такой обессилевший человек легко становился жертвой. Ночью бандиты его душили, раздетый догола труп выбрасывали наружу и оттаскивали куда-нибудь подальше от своей норы. Добытая одежда и другие предметы через полицейских или через рабочие бригады выменивались на хлеб, сало и табак.

Бывало, намеченная жертва не поддавалась уговорам и подкупу, не верила посулам, не шла на приманку хлебом, табаком и салом. Тогда обреченного выслеживали до его норы, где он жил с одним или двумя товарищами. Нора не могла быть размером больше, чем на трех человек, иначе происходило самообрушение непрочной песчаной кровли.

Ночью, подкравшись к этой норе вдвоем, втроем, бандиты, подпрыгнув, обрушивали кровлю норы на спящих. Обессиленные люди, заваленные почти метровым слоем земли, не имели сил выбраться сами и через несколько минут умирали от удушья.

Нападавшие, вернувшись в свою нору и отлежавшись там полчаса-час, возвращались и, прячась за неровности почвы от шарящих по территории лучей прожекторов, лежа, лихорадочно работали самодельным шанцевым инструментом, быстро докапывались до засыпанных, отыскивали жертву и забирали то, что им было нужно. Так, из-за одного кожаного ремня или из-за нерваной гимнастерки погибал не только владелец этих жалких ценностей, но и его товарищи.

Каким-то образом немцы разоблачили и раскрыли одну из таких шаек. Их было четыре человека. Им было устроено формальное следствие, их предали военно-полевому суду, который приговорил всех четырех к повешению.

На аппельплаце была выстроена виселица. В назначенный день казни нас всех вывели на аппельплац и построили вокруг виселицы. Осужденных привели из арест-блока под конвоем немцев с автоматами. Руки бандитов были связаны сзади, на груди каждого висела доска с надписью по-русски: «Я задушил своего товарища».

У виселицы стояло несколько немцев с барабанами.

Осужденных обвели вокруг всего аппельплаца, останавливали перед каждой колонной и заставляли кланяться и говорить: «Простите, братцы». Они еле-еле волочили ноги, и свои слова о прощении произносили чуть слышным шепотом. Во время содержания их в арест-блоке под следствием и в ожидании суда их ежедневно избивали плетками, и жизнь в них уже и так только-только теплилась. Они с трудом держались на ногах. Приближавшаяся смерть на виселице была для них уже как избавление от непрерывных физических истязаний.

Церемония казни была соблюдена по всем правилам. Осужденных выстроили перед помостом. Немецкий офицер зачитывал текст приговора по-немецки. Лагерный переводчик переводил на русский.

Ударила дробь барабанов. Под эти жутко-рокочущие звуки их втащили на помост – сами подняться по ступеням они оказались не в силах. На виселице орудовали наши лагерные полицейские. Командовал всем и хлопотал больше всех наш бывший ездовой, Сенька Коваленко. Он сам надевал петли, затягивал их, потом спрыгнул с помоста и одну за другой выбил три стойки, подпиравшие откидную часть помоста. Все четверо повисли сразу и тут же смолкли барабаны. Жуткая тишина повисла над аппельплацем. Казненные медленно поворачивались на раскручивающихся веревках.

Я был в то время уже в лазарете и о разгуле лагерного бандитизма в блоках слышал только из рассказов больных,

прибывавших в лазарет-блок. Когда еще я сам находился в 132-м блоке и ютился в норе, эта чума – лагерный бандитизм – только начиналась. Мне пришлось всего два раза видеть по утрам трупы раздетых ночью ограбленных и убитых жертв бандитизма.

Публичная казнь четырех разоблаченных бандитов на некоторое время приостановила рост этой заразы, но прекращение такого открытого бандитизма произошло по другой причине. Когда были построены землянки и люди из нор перешли под крышу, тех исключительно благоприятных условий для бандитов, которые существовали при жизни в норах, уже не было, и бандитские действия сами собой утихли.

Бандитизм не был единственным уродливым искажением человеческого существования в немецких лагерях военнопленных той поры. Другим уродством, едва ли не более отвратительным, был каннибализм. Это явление не могло быть таким массовым, как бандитизм, но случаи каннибализма были, и это одно само по себе было чудовищно.

Мне стали известны два случая каннибализма, но их было, вероятно, больше.

В одной из землянок на нижних нарах в дальнем холодном углу был обнаружен труп с отъятыми частями тела. Сосед признался, что это сделал он, а мясо сварил и съел. Он был забит полицейскими до смерти тут же.

Второй случай я знаю более подробно. Он произошел у нас в лазарет-блоке уже ближе к весне, когда миновало самое беспросветное время голода и холода, общая смертность сильно снизилась и общие условия стали как бы несколько стабилизироваться. К этому времени кончилась уже и эпидемия тифа, и у большинства оставшихся в живых появилась надежда дожить до весны и тепла. Каннибалом оказался один из поправлявшихся больных, длинный парень – белорус, который приспособился незаметно вырезать печень у только что умерших и затем варить ее в закрытой банке на печке. Это было возможно при существовавшем порядке скрывания трупов людей, умерших днем. Немцы вечером делали проверку «по головам», не требуя подъема больных с коек. Трупы маскировались под спящих больных и показывались умершими ночью, после проверки. За ночь каннибал имел возможность выполнить свою операцию. Разоблачен он был другими больными, давно заметившими его гастрономические уловки с закрытой банкой у печки, тем более, что из банки не мог не доноситься запах вареного мяса. Однажды банка была вскрыта, и по ее содержимому все стало всем ясно.

Судьба этого каннибала-трупоеда была скверной. Немцы утащили его в арест-блок и приговорили к 100 ударам плетей

ежедневно, пока не умрет. Сколько он вынес таких дней – мы не узнали.

Но как и на марше, так и в лагере, самой ужасной судьбой была судьба евреев.

Постоянные поиски скрывавшихся евреев среди массы пленных продолжались все время. Лагерные полицейские, науськанные немцами, рыскали в поисках своих жертв ежедневно. Находились негодяи и в массе пленных, доносившие на своих товарищей, про которых они узнавали, что те – евреи. Крайние степени изможденья, в которые пришли люди, облегчали эти поиски и разоблачения: дифференциация внешних черт различных национальных типов сделалась значительно определенней. Семитские типы лиц явно разглядывались на фоне остальной массы и предательски выдавали евреев.

Обнаруженных евреев немедленно отправляли в арест-блок. В августе – сентябре арест-блок представлял собой очень небольшую площадь в юго-восточном углу общей территории лагеря, под угловой вышкой, огороженную густой проволочной оградой от остальной территории.

Внутри на этой площадке были сделаны из колючей проволоки клетки очень малой площади – человеку не вытянуться лежа на голой земле, и такой же малой высоты – нельзя встать человеку даже среднего роста – без сплошной крыши и стен. Крышей и стенами и служили эти сплетенные из колючей проволоки сетки. Таким образом, заключенные в арест-блоке все время находились под открытым небом, на голой земле. Кормили их какими-то отбросами пищи один раз в день. Ни один человек из попавших в арест-блок по той или другой причине не вернулся в лагерь живым, чтобы рассказать о том, что там происходило в действительности. Поэтому все наши сведения об этом «учреждении» лагеря питались полулегендарными источниками и доходили до нас через несколько ступеней пересказчиков. Вероятно, первоисточниками этих сведений были те полицейские, которые по своим обязанностям были туда вхожи и видели своими глазами то, что там происходило.

Достоверным, однако, является то, что евреев там накапливали группами человек до 15–20 для расстрела. Расстрелы производились по мере формирования таких групп. Их вывод на расстрел производился обязательно днем, часов в 11–12 дня, и обязательно под музыку оркестра, сформированного также из евреев. Оркестр играл попурри из всевозможных разудалых одесских мотивчиков, вроде: «На Молдаванке музыка играет…», а выводимые на расстрел евреи обязательно должны были приплясывать под эту музыку. Пытавшихся уклониться от этого

последнего предсмертного издевательства нещадно избивали плетками и палками. Многие находились в тех степенях изможденья, когда и двигаться могли уже с трудом, и то с помощью соседей по строю. Таких забивали до потери сознания и заставляли других тащить эти полутрупы на себе.

Во время пребывания евреев в арест-блоке в ожидании формирования группы их ежедневно избивали плетками, давая по 25 плетей каждое утро. За всякую провинность, конечно, мнимую и надуманную, количество плетей увеличивалось многократно. Как и где производились расстрелы – мы не знали. Обреченных уводили с оркестром до ворот лагеря и затем налево вдоль южной ограды, в то время как поляк, вывозивший трупы умерших в лагере, со своей бричкой всегда сворачивал направо.

Звуки стрельбы до нас не достигали.

Удивительной и непонятной была эта страсть немцев к истязаниям и издевательствам над людьми, уже и так обреченными на смерть. Физическими мучениями и надругательством над человеческим достоинством они сопровождали человека до самой могильной черты и, казалось, никак не могли насытиться тем наслаждением, которое давали им эти истязания.

Мои чувства, так же как и у других, притупились от ежедневного вида беспредельных, казалось, человеческих мучений и страданий, и я уже давно не возмущался и даже не удивлялся виденному, но голова еще не отказывалась работать, и, глядя на немцев, я все думал, как это можно совместить, объединить, кичливое бахвальство высокой «европейской» культурой и поведение не то что на «азиатском», но на первобытном, пещерном уровне человеческого развития.

Много азербайджанцев, узбеков, некоторых кавказцев-мусульман, плохо владевших русским и не умевших словами доказать свою непричастность к семитам, тоже попали в эту погибельную свалку, особенно в первые месяцы осени сорок первого.

Когда немцы сочли, что все евреи в лагере выловлены, они отправили на расстрел и весь оркестр под его собственную музыку.

Я часто думаю: а что сейчас там, в Сувалках, на том месте, где был разбит этот ужасный лагерь смерти? Отмечено ли хоть чем-нибудь то место, где были закопаны десятки тысяч погибших, замученных и расстрелянных людей? Что-то не слышно об этом нигде, ни в одном рекламном проспекте, прославляющем достопримечательности польских городов, не приходилось мне читать даже упоминания об этих событиях. Неужели уж они так

незначительны, ничего не стоящи, что и недостойны упоминания? Это нам было тогда простительно состояние общего психического отупения и безразличия под грузом тех неохватных разумом отвратительных картин зверств, сознательно и хладнокровно творившихся немцами. А сейчас?

Простительно ли безразличие и забвение тех погибших теперь?

Если бы было возможно свободно поехать в Сувалки, взял бы билет и обязательно поехал.

6

Напротив ворот лазарет-блока, через широкий проход от ворот лагеря к аппельплацу, помещались такие же ворота в особый, привилегированный блок, называвшийся «оффицир-блоком». Туда сразу же были помещены прибывшие с нашей колонной Гиль и приближенные к нему командиры.

На просторной, отгороженной низкой проволочной оградой от остальной территории площади стояло несколько щитовых сборных домиков полубарачного типа. В них и разместили немцы тех из пленных командиров, которых они признали «оффицирами». Там уже до нашего прибытия находились ранее нас попавшие в плен командиры, в том числе два генерала: генерал-майоры Зотов и Богданов.

Генерал-майор Зотов за полный отказ как-нибудь сотрудничать с немцами был вскоре вывезен ими в концлагерь, выжил там, дождался конца войны, и у меня есть написанные им незадолго до смерти его мемуары, изданные в одном из сборников Воениздата. Я его в Сувалках сам не видел, но рассказы о его стойкости, как устную легенду, там слышал.

Другой человеческий тип являл собой генерал-майор Богданов. Это была весьма и весьма примечательная в своем роде личность. Его мы видели все, и каждый день не менее трех раз.

Генерал-майору Богданову был разрешен проход по территории лагеря, и он трижды в день отправлялся из оффицир-блока на кухню через весь лагерь, по аппельплацу мимо всех блоков, провожаемый тысячами голодных глаз и посылаемыми вдогонку матюгами, одетый в длинную генеральскую шинель, как бы и не со своего плеча. В руках всегда был большой немецкий солдатский котелок. Коротышка, менее 160 см росту, он казался сравнимым со своим котелком. Это была какая-то карикатура на генерала. Только в условиях сталинщины такое физическое, моральное и умственное ничтожество могло получить такое высокое воинское звание, как генеральское. Генерал Богданов был, несомненно, позорищем для армии уже в то время, как мы видели его в лагере пленных. Но я тогда не знал, конечно, что мне придется увидеть его еще и в других условиях, где низость этой человеческой личности обнаружится в формах, совершенно анекдотических, в то время как его личные действия выявят его жестокую и садистскую натуру. Мне было бы трудно поверить рассказам об этом человеке, если бы не пришлось все видеть собственными глазами год спустя.

Генерал Богданов с первых минут плена выдал немцам какие-

то авансы, и они держали его про запас, может, когда-нибудь и пригодится.

Сам Гиль очень редко выходил с территории оффицир-блока, раза два только приходил в лазарет-блок, беседовал с Евдокимовым. Тот сказал нам, что Гиль назначен немцами старшим русским офицером лагеря и что он ведет с немцами какие-то переговоры. «Если он действительно еврей, – подумалось мне тогда, – то по какому же острию ножа он ходит, находясь под постоянной угрозой разоблачения. Уж такому-то немцы устроят не просто казнь, но настоящую кровавую баню».

Но суждено было случиться так, что немцы не устроили Гилю кровавую баню. Прошло полтора года, и Гиль сам устроил немцам кровавую баню – но об этом после.

Весной, в начале марта, мы узнаем, что Гиля с группой командиров, человек 30, куда-то вывезли. Мы думали-гадали, но ничего понять не могли. Одни говорили, что их перевели в какой-то привилегированный лагерь, другие – что их освободили вообще для работы на немцев на оккупированной территории.

Но через месяц вся группа возвратилась обратно. Все выглядели поправившимися, посвежевшими и одеты были в какую-то неизвестную нам военную форму из светло-зеленого добротного сукна: мундиры, брюки, пилотка, ботинки полугражданского образца. Оказалось – это чешская форма.

После возвращения группы Гиля начались некоторые перемены в лагере. Уменьшился произвол лагерных полицейских. Несколько улучшилось питание, очевидно, были приняты некоторые меры по уменьшению воровства на кухне и в других передаточных инстанциях. Баланда стала гуще, а кава – без сахара, сахар же стали выдавать на руки. Хоть было его и немного, но по сравнению с его полным отсутствием прежде эта выдача выглядела существенным улучшением. В похлебке стала появляться крупа, чего раньше тоже не было. Смертность пошла на убыль, трупы уже не складывались поленницами, как это было в начале зимы и в разгар тифозной эпидемии. Поляк-могильщик успевал всех вывозить.

За время отсутствия группы Гиля, в марте, немцы предприняли меры борьбы со вшивостью и, к нашему удивлению, с этим справились. Построили баню за лагерем с вошебойкой (Enfleuzung Stelle), все бараки и землянки друг за другом прожарили горящей серой, в очищенный от вшей барак запускали людей, прошедших в бане полную «обесвшивленность», включавшую прожарку всего имущества и бритье всякой волосатости на теле, и кончились вши в лагере. Это было сделано так быстро, – не более чем за неделю, – что всем нам даже не

верилось, что мы избавлены наконец от этой нечисти.

Надо отдать немцам должное в умении организовывать задуманные мероприятия – делая задуманное, они действовали быстро, четко и деловито.

Офицеры группы Гиля получили возможность передвигаться по лагерю и посещать блоки. Так мы узнали, что их возили в Бреслау – бывший польский город Бреславль – в какой-то особый лагерь. Там с ними обращались хорошо, возили на экскурсии по Германии, показывали деревни и города, промышленность и сельское хозяйство. Германия весной сорок второго еще не была разгромлена воздушными налетами союзников, и жизнь немецкого тыла поражала свежий глаз чистотой, ухоженностью, размеренностью и аккуратностью. Восторженные рассказы об этих сторонах немецкой жизни мы слышали теперь от очевидцев.

К каждому блоку был прикреплен теперь один офицер из группы Гиля для пропагандистской работы. Содержание этой пропаганды было весьма примитивно: восхваление всего немецкого, охаивание всего советского. Все пережитые нами ужасы за 9 месяцев плена теперь объяснялись просто: Сталину и вообще советской власти русские, попавшие в плен, больше не нужны, их считают всех предателями («воин Красной Армии живой в плен не сдается!»). Кроме того, в 1925 году Советское правительство не подписало Генуэзскую конвенцию об отношении к военнопленным в случае войны, вот по всему этому и было нам так плохо. Немцы вообще не обязаны были никак заботиться о русских пленных, так как мы вроде «вне закона», а кроме того, они не ожидали, не рассчитывали, что русских пленных будет так много, и поэтому оказались совершенно неподготовленными принять и содержать такое большое количество – несколько миллионов – русских, советских пленных.

Эти объяснения новоиспеченных пропагандистов выглядели бы правдоподобно в свете несомненных фактов – неприсоединение нашего правительства к международной Конвенции о военнопленных и неожиданном для немцев большом числе пленных и т. д., если бы этой правдоподобности не противоречил такой, тоже для нас очевидный и несомненный факт – немецкие зверства по отношению к нам. Если бы все дело было только в трудностях содержания, зачем тогда было применять такую продуманную систему мер, направленную явно на то, чтобы погубить возможно большее число людей, зачем совершать неоправданные и не вызывавшиеся необходимостью жестокости и издевательства? Пропагандистская линия не вязалась с действительностью, но возражать было, естественно, нельзя, и каждый понимал эти речи про себя, как умел и как

хотел.

К лазарет-блоку был прикреплен старший лейтенант Сергей Петрович Точилов, московский интеллигент лет 45, архитектор по гражданской специальности, старый холостяк, не имевший никогда своей семьи. Мне пришлось с ним познакомиться – правда, мельком – еще до поездки группы Гиля в Бреслау. Точилов тоже был включен в группу Гиля и жил вместе с ним в одном бараке в оффицир-блоке. Точилову немцы еще в конце осени поручили «работу» – вести учет умерших. Те цифры – 500, 600 и 700 человек, умиравших в самые страшные дни прошедшей зимы, я узнал потом именно от него. Он должен был вести строгий учет всех трупов и давать немцам ежедневные сводки о числе умерших. Он был несколько сутуловат, роста среднего, немного рыжеват, лицо веснушчатое, круглое, с выдающейся нижней челюстью и несколько оттопыренной нижней губой. Носил круглые очки. Был типичным командиром-интеллигентом из мобилизованных гражданских.

Мое первое знакомство с ним произошло на почве столкновения по поводу учета умерших в лазарете. Наша «методика» этого учета, дававшая нам возможность существовать, не вязалась с фактическим состоянием дела, а Точилову, прирожденному педанту, не терпелось привести все в строгую систему, как того и требовали от него немцы. Придя в этой своей «должности» в лазарет-блок и обойдя бараки, он, конечно, не в пример немцам, обнаружил наших умерших в тот день и уже записал их в свой «синодик», но я вовремя заметил это и вмешался. Произошел спор. Я погорячился, меня поддержали другие, решили потащить этого нового «бухгалтера смерти» к Евдокимову. Тот своим авторитетным видом и спокойным тоном сумел объяснить Точилову истинную обстановку и уговорить того не вмешиваться в установившийся порядок. Помню, решившим все дело аргументом было оброненное Евдокимовым как бы вскользь замечание о том, что обстановка такова, что никто из живущих в лагере не гарантирован от какой-нибудь болезни, особенно от тифа, и тоже может попасть сюда же, к нам, так стоит ли вмешиваться в наши порядки? Намек был понят правильно, Точилов снял свои претензии и в дальнейшем, приходя в лазарет-блок, записывал всегда только вчерашних умерших, как умерших сегодня, а сегодняшних оставлял на завтра.

Однако та первая размолвка не помешала нам постепенно сблизиться с ним. Почвой такому сближению послужила общность нашей антисоветской убежденности. Негативное отношение к советскому строю у нас обоих было одинаково, расходились мы только в вопросе о роли немцев. Точилов прямо

преклонялся перед мощью немецкой военной машины, перед их организованностью и их целеустремленностью и находил всевозможные оправдания их изуверств в отношении нас. Здесь я спорил с ним, мне стало уже совершенно ясно, что немцы – исторические враги России, но сейчас они выступали как враги Сталина и его режима, и я не видел никакой другой возможности борьбы со сталинизмом в нашей стране, кроме союза с немцами.

Наши споры при встречах не мешали нашему постепенному сближению, и я очень жалел, когда Точилов однажды не пришел в конце дня в лазарет-блок, а от другого командира, его сменившего на должности «учетчика трупов», я узнал, что Точилов вместе с группой Гиля готовится завтра уехать из лагеря. Я считал, что больше уже не увижу Точилова.

Поэтому, когда через месяц Гиль возвратился со всей своей группой, я был очень обрадован новой встрече с Точиловым. После своей поездки и экскурсий по Германии Точилов еще больше укрепился в своих германофильских взглядах, расхваливал мне все, что он увидел в Германии своими глазами, и говорил, что Советский Союз – варварская, дикая страна по сравнению с Германией. Мне стало трудно с ним спорить, потому что никаких новых, а тем более веских аргументов я не находил, в то время как Сергей Петрович рассказывал все новые и новые факты лучшей, чем у нас, организации жизни у немцев. Единственно, что мне пришло в голову тогда – возразить Сергею Петровичу, что виденное им есть только поверхность немецкой жизни, а саму жизнь народа он за такую краткую поездку, да еще в положении стороннего наблюдателя не мог увидеть. Но это мое возражение нисколько не поколебало моего нового и – это весьма существенно – старшего товарища. Точилов был старше меня на 20 лет, он получил образование еще в старой России, он помнил другие времена и во многом был для меня авторитетом.

Много рассказывал Точилов о лагере, в котором их содержали под Бреславлем. Тогда еще он не мог знать, что это был вербовочный лагерь немецкой шпионской организации «Цеппелин», созданной СС. Я сам узнал об этом спустя 20 лет после окончания войны, прочитав в одной из книг, посвященных описанию немецкой шпионской деятельности против Советского Союза во время войны, о вербовочном лагере под Бреслау, принадлежавшем «Цеппелину», и, сопоставив разные факты, убедился, что этот лагерь «Цеппелин» и был тот самый лагерь, куда возили в марте сорок второго года Гиля и его окружение.

Точилов намекал на скорые перемены в положении русских у немцев вообще и на перемены в положении пленных в частности.

Однажды в середине апреля он спросил меня прямо: согласен

ли я буду снова взять в руки оружие, если мне предложат служить в русской армии, чтобы воевать против большевиков вместе с немцами? Я ответил ему: «Если эта борьба будет направлена против большевизма, а не против России, то – да».

Между тем Гиль и его офицеры, возвратившись из своей поездки, развили бурную активность. Они пользовались особыми правами по сравнению с рядовыми пленными – так, они могли свободно перемещаться по территории лагеря, заходить в блоки, беседовать с кем угодно.

За время их отсутствия немцы на территории бывшего 13-го блока, так памятного мне, построили огромный барак, внутри которого был зрительный зал со сценой и подсобными помещениями. Гиль привез с собой полный набор музыкальных инструментов для оркестра, и среди оставшихся в живых пленных быстро нашлись бывшие музыканты и артисты-любители, был организован оркестр и театральная самодеятельность. В теплый весенний день 20 апреля, в день рождения Гитлера, был назначен первый концерт нового оркестра и какая-то постановка драмкружка.

Зал был набит битком, не поместившиеся толпились в открытых входах и выходах. Казалось, что все 2,5 тысячи оставшихся в живых хотели присутствовать на этом первом за 10 месяцев человеческом мероприятии. По слухам, за это время через лагерь прошло не менее 22 тысяч человек. Значит, 20 тысяч ушло туда, под эту моренную гряду, видневшуюся к северу от Сувалок, куда, по рассказам, поляк отвозил свой ежедневный груз…

Перед концертом и спектаклем была, как и положено по нашим обычаям, «торжественная часть». После официальных речей лагерного начальства во славу фюрера, Великой Германии, ее доблестной армии было предоставлено слово Гилю.

Гиль выступил с большой речью, в которой тоже произнес славословие в адрес Гитлера и его Рейха, затем рассказал об их поездке по Германии, о тех возможностях, которые были предоставлены немцами для ознакомления с жизнью Германии и, наконец, о самом главном – о предоставлении немцами права нам, русским людям, тоже принять участие в борьбе с «жидо-большевизмом». Это новое и необычное еще для слуха словосочетание, да еще произнесенное заведомым евреем с немецкой трибуны, прозвучало так странно и нелепо, что я чуть не рассмеялся вслух, но тут же сообразил, что это могло бы повлечь для меня самые печальные последствия, и быстро спрятал лицо за спины впереди сидящих, силясь скорее согнать невольную улыбку.

Гиль, между тем, продолжал далее, что он решил создать военно-политическую организацию под названием «Боевой Союз русских националистов» для борьбы с большевизмом у нас на Родине под верховным водительством Великогермании и ее фюрера, Адольфа Гитлера. Объявил и программу своего «Союза», в которой вопрос о будущем государственном устройстве России оставался нерешенным. Гиль сказал: «Это дело будет решаться после войны». Закончил он призывом вступать в ряды его «Союза».

Меня сильно взволновало это собрание. Главное впечатление произвели не речь и не слова Гиля, а самый поворот дела, сама неожиданно появившаяся возможность вырваться из этого дурацкого плена и принять личное участие в деле, которому хотелось послужить.

Превосходство немецкой военной машины над советской весной сорок второго года продолжало казаться несомненным. Поражение немцев в осеннем наступлении на Москву казалось частным неуспехом, вызванным затяжной кампанией из-за осеннего бездорожья до того времени, когда «генерал Зима» присоединился к войскам Сталина в качестве могучего союзника. Наступит лето, и немцы закончат разгром Сталина.

Что станет тогда с Россией? Нельзя же спокойно сидеть сложа руки и ждать, когда немцы сделают все сами, тогда у них будет тем больше оснований не идти на уступки русским национальным силам в предоставлении им права на собственную государственность. Это, конечно, унизительно для русского самосознания, что Россия, после разгрома Советского Союза, будет вынуждена получать право на государственность от иноземного победителя, но раз другого пути история не предоставляет, то что же поделаешь? Нужно брать то, что есть налицо, синицу в руки, если ястреба с неба нельзя достать.

Именно по такой схеме и развивался у меня на другой день разговор с Сергеем Петровичем Точиловым. В то время ни он, ни я не знали ничего о людоедских планах Гитлера в отношении славянских народов вообще, а в отношении России – особенно. Не знали мы о намерении нацистов присоединить к Германии Украину, Белоруссию, Прибалтику, Кавказ, об «оттеснении» русских за Урал и создании на европейской территории России какого-то ублюдочного, подчиненного немцам, подобия «государства», граждане которого будут обязаны работать на Германию, и т. д.

Советская пропаганда, в свое время много говорившая и писавшая о захватнических планах и настроениях гитлеровцев, уже давно утратила на нас свое влияние. Кроме того, как и

большинство антисоветски настроенных людей, мы давно потеряли веру в утверждения советской пропаганды, не верили ей, тем более что принятый в этой пропаганде чисто ругательский, бранный, не деловой, бездоказательный стиль выступлений ни в чем нас не убеждал еще и дома, до войны, тем менее мы были склонны верить ему сейчас.

Сами же по себе немецкие планы порабощения и уничтожения России были настолько нелепы, их абсурдность и неосуществимость была нам, в частности мне, настолько очевидна, что никто из нас не мог допустить, чтобы люди, способные здраво мыслить, могли вынашивать такие планы. Немцы казались мне людьми, способными мыслить здраво и реально, если они сумели произвести такую великолепную организацию своих вооруженных сил и держать в таком идеальном порядке внутреннюю жизнь своей страны. Тогда мне было совсем невдомек, что в реальной политике знак равенства между рациональными действиями и намерениями с одной стороны и правильным пониманием условий для осуществления этих намерений с другой ставить нельзя. Чаще всего не соблюдается это равенство. Но чтобы понять это, потребовалось 30 лет жизни – и какой жизни…

Мы приняли тогда желаемое за действительное, и с помощью немцев сами себе создали миф о том, что можно победить большевизм в России, не побеждая самой России, и поверили в этот миф, и пошли служить ему. Действительность была жестокой – мы пошли служить немцам.

Точилов формально предложил мне свою рекомендацию для принятия в «Боевой союз русских националистов», в котором сам он уже состоял со времени поездки в Бреславль. Я дал согласие, подал заявление и по рекомендации Точилова был принят в состав первой сотни этого «Союза» и зачислен рядовым офицерского взвода.

Вместе со мной из лазарета вступили в Союз зубной врач Борзиков и веселый, бесшабашный парень, фельдшер, которого мы все звали «Малыш», хотя он был высокого роста. Фамилию его я забыл.

Так совершился переход мой в совершенно новое для меня человеческое качество…

Не могу сказать, что этот «переход» совершился совсем без внутренней душевной борьбы. В глубине сознания сидел и точил какой-то червячок, портивший радость от представившейся возможности освобождения. Совесть не была спокойна от мысли, что, по сути, я иду в наемники к врагам своей страны, что этот шаг, на который я решился – не только с формальной – законной,

но и чисто человеческой точки зрения, – есть не что иное, как предательство, измена, но усилием воли я подавил в себе эти сомнения и угрызения, раздавил этого «червячка».

Выработавшийся ход мысли, питаемый застарелой, ставшей органической, неприязнью к сталинскому режиму, приобрел инерцию. Я убеждал себя, что иду служить не немцам, а России, которая гибнет на глазах, еще немного, в этом году – обязательно, она будет раздавлена сапогами завоевателей, и нужно скорее, совершенно срочно, организовываться нашим, русским, национальным силам, чтобы противопоставить немцам хоть что-то взамен разгромленной сталинщины.

Истинное лицо самих немцев за эти 9 месяцев плена мне было уже достаточно хорошо понятно, и иллюзий на их счет я больше не питал.

Другие иллюзии полностью завладели тогда моим – и не только моим – сознанием: что с помощью немцев, опираясь на них, по сути, обманывая их, мы, русские, сможем сделать свое, наше, русское дело и спасем если уж и не всю Россию, то хоть то, что от нее останется после окончательной победы немцев. Нужно обязательно сделать так, чтобы эта «окончательная победа» никак не была победой только немцев, но чтобы она была также и победой национальных сил возродившейся России…

Акция Гиля, казалось мне, открывала начало движения русских национальных сил за возрождение России.

История потом все рассудила иначе, не оставив ни одного целого камешка от воздушных замков наших иллюзий…

Глава IV

1

Во второй половине дня 1 мая 1942 года сто пленных были выведены за ворота лагеря «Оффлаг-68», подведены к складскому помещению и там переодеты в новенькое чешское обмундирование. Это была первая сотня «Боевого союза русских националистов», о создании которого Гиль объявил в лагере 20 апреля. Бывших командиров Красной Армии свели в один взвод. В нем в качестве рядовых состояли командиры со званием от подполковника до младших лейтенантов. Я был тоже зачислен рядовым этого взвода.

Часов в шесть вечера нас погрузили в пассажирские вагоны совсем незнакомой нам конструкции, не похожие на наши, русские. Вооруженной охраны с нами не было, нас сопровождали только несколько немцев-офицеров в форме, которую мне до сих пор видеть не приходилось: один погон на правом плече в виде серебряного шнура и черные петлицы с серебряными кубиками на левой стороне и серебряными же молниями на правой. Как потом я узнал, это была форма войск СС, «Ваффен-СС», как они называли сами себя.

Итак, нас сопровождали эсэсовцы. И нельзя сказать, что они не были вооружены. У каждого на левом боку висела кобура с пистолетом.

В середине следующего дня мы проехали через разбомбленную Варшаву. Поверженные в руины кварталы города не обнаруживали никаких работ по восстановлению разрушенного, только проезжая часть улиц была расчищена от обломков, огромными грудами лежавших по обе стороны. Это были разрушения, произведенные немецкими бомбардировками в сентябре 1939 года.

Вскоре мы прибыли в Люблин. Город был совершенно цел и совсем не походил на наши города. Множество домов старинной архитектуры, древние костелы, узкие кривые улицы, тесные площади – все было таким необычным и интересным для свежего взгляда. На вокзальной площади нас ждали большие крытые машины.

Местные жители, горожане, поляки с любопытством и легко читаемым недружелюбием рассматривали нас, когда мы рассаживались по машинам, пытаясь понять – кого еще и для чего немцы привезли в Люблин? Полтора-два часа езды на машинах, и мы проехали через небольшое местечко Парчев, как прочитали мы на указателе возле дороги. На улицах было видно множество евреев, одетых бедно, сидящих у порогов своих убогих,

полунищенских жилищ. Таких еврейских типов, почти библейских, одетых в лапсердаки, с длинными, свисающими пейсами или седыми, тоже очень длинными бородами, мы никогда не видели у себя дома и с любопытством разглядывали их. Всюду мы видели жизнь, непохожую на нашу, совсем иную.

Но вот вдали за полем показался старинный парк, из-за деревьев высоких, очень старых, показалась крыша большого здания, затем машины въехали в широкие ворота и по парадной дороге, обсаженной рядами толстых дубов и лип, подкатили к подъезду типичного барского, усадебного дома, в три высоких этажа, увитого плющом по стенам от земли до крыши. Над входом, украшенным полуколоннами, виднелся лепной дворянский герб с графской короной наверху.

Это оказалось вотчинное имение известных польских магнатов, графов Замойских, бежавших в Румынию в 1939 году. Этот графский родовой замок и парк за ним удивительно напоминали мне барский дом и парк у меня на родине, в селе Никольском на Вологодчине, только у нас и дом и парк были еще богаче. Нас разместили в комнатах первого и второго этажей. На всех стенах холла внизу, на лестницах и в широченных коридорах второго этажа висели старинной работы, темные от времени портреты предков многочисленных поколений графов за несколько столетий. Почтенные старые господа в буклях и надменные декольтированные дамы в фижмах смотрели на нас со стен, как бы дивясь и не веря такому надругательству и святотатству, как это вторжение иноплеменных в их родовое гнездо.

Но гораздо удивительней были какие-то странные, молчаливые люди в советской военной форме, размещенные на третьем этаже дома, не вступавшие с нами в контакты и почти не разговаривающие друг с другом. Только из отдельных замечаний их между собой мы и узнали, что они тоже наши, русские.

И еще более молчаливы, совсем уж мрачного вида были люди, производившие занятия с ними. Не составило большого труда догадаться, что это были за люди и что это было за учреждение. Конечно, это могла быть только немецкая шпионская школа, ничто другое.

Тревога охватила нас. Никто не готовился в шпионы, и не за тем дали мы согласие на зачисление в этот «Боевой союз».

Однако тревога оказалась, в общем, напрасной. Мы боялись насильственного зачисления в шпионы под угрозой расстрела. Этого не произошло. Была вербовка, но без принуждения и даже без нажима.

Через несколько дней после прибытия всех опросили по

одному, вызывая «на комиссию», где сидел Гиль, немецкий майор СС и еще несколько немецких чинов. Гиль предлагал, немецкий майор поддерживал предложение на вполне хорошем русском, поступать в шпионскую школу. Выслушав отказ, отпускали сразу. Хорошо помню то чувство облегчения и даже какой-то детской радости, которое испытал, когда закрыл дверь, выйдя из комнаты этой «комиссии».

2

Более 20 лет спустя из опубликованных в советской печати материалов я узнал, что это бывшее имение графов Замойских, «Яблонь», была Южная разведывательная школа организации СС «Цеппелин», готовившая шпионов, забрасывавшихся потом на территорию Советского Союза.

Так, по касательной, судьба провела меня мимо и этого дела.

Три недели продержали нас под этим подозрительным кровом, и все время мы чувствовали себя не в своей тарелке. Нельзя сказать, чтобы нас особенно подкармливали. Столовая была устроена в каком-то из подсобных помещений замка, глухие стены без окон, но высокая стеклянная крыша без потолка. Похоже, что здесь была графская картинная галерея. Теперь же против входа в нее на кремовой стене была черная надпись готикой по-немецки: «Unsere Ehre heist Treue». «Наша честь – верность» – так можно было перевести. Над загадочным смыслом этого изречения мы много ломали головы. Было ясно, что оно обращено не к нам. До нас тут, видимо, были немцы.

Дни наши были заполнены обычными военными занятиями: строевая подготовка, изучение материальной части оружия – немецких карабинов, немецких «ЭМ-ге» («Машин-гевер», т. е. ручных пулеметов), тактические занятия. В преподавателях мы не нуждались – собственные силы были вполне достаточные. Да мы и не утруждали себя занятиями. Разбившись на небольшие группы по большой поляне в глубине парка, мы лежали на траве и болтали о чем угодно, только не о предмете занятий.

Так продолжалось три недели.

Но вот однажды Гиль, построив всю нашу сотню как-то вечером, после окончания занятий, объявил, что пришла пора нам делом доказать свою верность Великогермании и ее фюреру.

Многие переглянулись друг с другом – мне тоже стало не по себе. Все до сих пор говорили о России, об освобождении ее от большевизма, а верность, оказывается, нужно проявлять к фюреру. Гиль продолжал: «Нам нужно провести первую боевую операцию». Он изложил суть операции: мы переоденемся в гражданское и, вооруженные, совершим рейд по юго-восточным районам генерал-губернаторства, т. е. по районам, примыкающим к правому берегу Буга. Цель операции: изображать из себя партизанский отряд, проникший на территорию генерал-губернаторства со стороны восточных оккупированных районов, нам нужно обнаруживать действительные партизанские группы, вступать с ними в контакт и затем уничтожать их.

Сама идея этой операции выглядела достаточно мерзко, но ничего не поделаешь – назвался груздем, полезай в кузов.

Гиль предложил каждому, кто хочет, выбрать себе псевдоним взамен настоящей фамилии и далее значиться только под этим псевдонимом.

Для себя в качестве псевдонима он выбрал русскую фамилию Родионов и потребовал больше к нему по фамилии Гиль не обращаться. «Забудьте эту фамилию», – он сказал.

Так родился подполковник, позднее – полковник Родионов, достаточно понашумевший потом в Белоруссии.

Гиль – простите, Родионов – объявил и официальное название нашему отряду: Боевая Дружина боевого союза русских националистов. Так родилась Дружина, позже переименованная вначале в Первую Дружину, а потом и в Бригаду Родионова.

Три недели шатались мы по деревням, хуторам, полям и перелескам Томашевского, Замостьского, Рава-Русского и Парчевского уездов, зашли в южную часть большой Парчевской пущи. Еще перед выходом на эту операцию я решил про себя, что ни за что не стану стрелять в людей, если только не буду вынужден к этому самозащитой. Но, на мое счастье, не только мне, но и большинству из нашей сотни не пришлось это делать – операция, по сути, была провалена. Никаких партизанских групп обнаружено не было и не могло быть по той причине, что впереди нас всегда шла молва, кто мы есть такие на самом деле. Если и были там небольшие партизанские группы, то, предупрежденные населением, они вовремя уходили в сторону от нашего пути и оставались незамеченными нами.

Только немцы и могли принять нас за настоящих партизан. Однажды ранним утром взвод лейтенанта Ясыра напоролся на небольшой отряд полевой жандармерии. Немцы открыли огонь из окон дома, в котором они ночевали. Никто не разобрал, что стреляют немцы, но от первых же выстрелов появились убитые и раненые. Ясыр со своими людьми окружил дом и бросился с гранатой к окну, из которого бил ручной пулемет, но не добежал… Так погиб лейтенант Ясыр, любимец Гиля.

Это было уже в конце операции, и мы привезли в Яблонь вместо боевых трофеев тела своих первых покойников.

Однако Гиль-Родионов нисколько не был смущен такими результатами нашего похода и сочинил первую победную реляцию, показав в ней десятки убитых «бандитов» и много разоренных партизанских гнезд.

Об этом беззастенчивом вранье мне рассказал по секрету, разумеется, Сергей Петрович Точилов, который на время похода был назначен Гилем командиром нашего офицерского взвода, но

в действительности он все время отирался около самого Гиля.

Эта памятная операция имела большое значение для каждого из нас в том смысле, что мы все отъелись на крестьянских харчах: молоке, яйцах и сале. Жили мы все это время на «подножном» корму, как и полагалось «партизанам», т. е. кормились за счет тех хозяев – поляков или западных украинцев, где останавливались на ночлег. Удивил меня тогда «культ Петлюры», который видел я в украинских домах, в которых пришлось побывать. В каждом висели портреты Петлюры, да еще и убранные цветами или вышитыми полотенцами, встречалось много разной пропагандной петлюровской литературы. Дух петлюровщины оказался там очень живучим.

Личностью № 2 в Дружине стал капитан Андрей Эдуардович Блажевич. Он, как и Гиль, в Красной Армии был артиллеристом, начальником штаба артиллерийского полка. Вместе с Гилем он жил в бараке офицерского блока в Сувалках, вместе их возили в марте немцы на идеологическую обработку.

Гиль назначил Блажевича начальником штаба дружины, объявив при этом назначении, что дружина будет расти численно. Во время нашего рейда Блажевич обнаружил себя с неожиданной для меня стороны – он разыскивал евреев, еще остававшихся по деревням, и расстреливал их обязательно лично и обязательно на глазах собравшихся. За минувший год я уже столько насмотрелся на всевозможную гибель людей, что, казалось бы, огрубевшие чувства не могли быть уже поражены еще какими-то новыми впечатлениями. Но эти картины садистских расправ Блажевича с неповинными людьми потрясли меня и повергли в ужас: куда я попал и какой выход из этого положения может быть?

Ворочаясь ночами, думая о виденном, я понемногу нашел для себя успокаивающие объяснения – такой Блажевич у нас один, остальные все – не такие, и сам Гиль не ведет себя так, как Блажевич. Но для себя самого я еще больше укрепился в первоначальном намерении – ни одной капли русской крови не пролить сознательно, по своей воле. Всеми силами и средствами избегать ситуаций, которые могут вынудить меня это сделать. Если придется стрелять вместе со всеми, то стрелять мимо!

Моя судьба меня хранила. Мне удалось выполнить свое решение, даже не прибегая для этого ни к каким особенным уловкам и хитростям.

В середине июня Дружина из Яблони была переведена в Парчев, в небольшой барачный военный городок на южной окраине местечка. Меня же с двумя другими офицерами – старшим лейтенантом Артеменко и капитаном Игнатенко – откомандировали для охраны одного польского поместья,

отданного немцу. Сам немец оставался в Германии, а в поместье заправлял поляк-управляющий, и все там были только поляки. Нам надо было жить в этом поместье и охранять его от возможных нападений. Какое сопротивление могли оказать мы, трое, с одними винтовками, в случае серьезного нападения на поместье? Конечно, никакого, поэтому наша охранная миссия была чисто символической и свелась только к тому, что мы прекрасно провели два летних месяца в старом польском доме, ловя карасей в панских прудах да любуясь косулями, разгуливавшими в панском парке.

В самом конце августа нас неожиданно отозвали из нашего караульного блаженства. Вернувшись в Парчев, мы не узнали нашу «родную дружину». Вместо неполной сотни там оказался полнокровный батальон, сформировавшийся за счет нескольких пополнений, отобранных в разных лагерях военнопленных. Появилось много новых командиров в крупных чинах – подполковников и полковников. Их число значительно превышало штатные потребности, и была сформирована отдельная офицерская рота, командиром ее был назначен незнакомый мне офицер из вновь прибывших, полковник Петров, суровый человек, старый кадровый военный, служивший еще в старой армии, воевавший в Гражданскую войну и всю жизнь проведший в армии.

Начальником штаба оставался по-прежнему Блажевич, но у него появился заместитель – подполковник Вячеслав Михайлович Орлов, державшийся как-то странно. Он никогда не кричал, не ругался, говорил вкрадчиво, с улыбкой, но в то же время чувствовалось, что в этом человеке за внешним обликом скрывается еще другая личность, не имеющая ничего общего с внешними чертами. Но какая? Потом только я понял, какая…

Моего старшего друга, старшего лейтенанта Точилова, назначили командиром взвода офицерской роты, а меня к нему во взвод, командиром отделения. У меня в отделении, кроме младшего лейтенанта и лейтенантов, оказались еще два старших лейтенанта и один капитан. К моему большому облегчению дальше все сложилось так, что мне фактически и не пришлось командовать своим отделением.

3

Через 2 дня после нашего возвращения в Дружину мы уже грузились в эшелоны, чтобы отправиться на Восток. Пока нам было известно только, что едем в Смоленск. И действительно, мы прибыли туда 1 сентября 1942 года. Нас разместили в бывшей городской тюрьме, уже использованной немцами раньше под свое казарменное помещение. Нас насчитывалось к тому времени уже более четырех сотен, четыре полнокровные роты, и нас несколько раз Гиль выводил общим строем помаршировать по городским улицам. Целый год я не видел русских советских людей на свободе и жадно глядел на горожан, останавливающихся на тротуарах, чтобы посмотреть на нас. Некоторые смотрели недоумевающе, но большинство не скрывали своего недружелюбия и осуждения во взглядах, которыми они провожали нас. Ни одного приветливого лица, ни одной улыбки не углядел я на лицах горожан в те часы маршировки по городу, и это вызвало, помню, тяжелое чувство то ли укора и раскаяния, то ли сожаления, то ли сознания совершенной ошибки, но, помню также, я успокоил себя тем, что вот кончится война, на обломках большевистского государства поднимется национальная Россия и все, кто сейчас глядит на нас так презрительно-осуждающе, убедятся, что правы-то были мы, а не они!

Всего несколько дней мы пробыли в Смоленске, и нас снова перебросили, на этот раз – в городок Старый Быхов, южнее Могилева.

В Быхове, на высоком правом берегу Днепра высилось тогда большое белое здание, окруженное белыми кирпичными стенами. Оно было построено в XVI ли, в XVII веках каким-то польским магнатом. Эти земли в те времена были частью польского королевства, и с тех пор сохранилось название – «Замок». В советское время этот «замок», конечно же, был приспособлен для тюрьмы. Немцы там размещали свои гарнизоны, а Красная Армия в 1941 году, оставив Быхов, долбила своей артиллерией этот замок, пока была еще возможность. Один из моих лагерных друзей, который тоже живет сейчас в Ленинграде, командовал гаубичной батареей, которая вела огонь по Быхову из-за Днепра, после отступления в июле 1941 года, имея в качестве основного ориентира для корректировки огня этот самый замок.

Но мы уже не застали там следов разрушений, произведенных русской артиллерией. Решив использовать этот замок для себя, немцы со своим умением работать быстро, отремонтировали его полностью. Все стены внутренних

помещений замка оказались разрисованными солдатскими художниками и испещрены картинками веселого фривольного содержания.

Невольно напрашивалось сравнение – разве с нашим пуританским духом разрешено было бы подобным образом «украшать» стены казенного казарменного помещения, в котором живут бойцы? Мы смеялись и пытались угадать, сколько суток гауптвахты схватил бы наш игривый художник, если нарисовал хотя бы одну только подобную картинку на стене у своей койки? А тут разрисовали все стены! Но у каждого свое…

Мой друг Сергей Петрович Точилов, ставший близким человеком к Гилю, продолжал покровительствовать мне и выдвигать меня.

Конечно, по его рекомендации, Гиль назначил меня командиром одного из взводов новой роты, которую сформировал Точилов. Об этом было объявлено в новом приказе Гиля, который он издал по прибытии нашем в Быхов. В приказе было наконец четко сформулировано главное назначение дружины – борьба с партизанами на оккупированных территориях. Таким образом, постепенно, шаг за шагом, мы все дальше и дальше откатывались от той идеи, ради которой пошли на это дело – формирование и объединение русских национальных сил для противопоставления их интернациональному, антирусскому, антинародному большевизму – и все больше и больше скатывались в положение простых наймитов, ландскнехтов, которых завоеватели натравливают против их собственного народа. Горькая истина упрямо лезла в глаза и в сознание, как бы я ни старался прогнать ее и думать прежними категориями и надеждами.

Мои отношения с Точиловым достигли уже той степени доверительности, что я решил наконец поделиться с ним своими сомнениями. Такая откровенность по условиям обстановки была смертельно опасна – уже были случаи коротких расправ с неосторожными сомневающимися, не сумевшими сохранить свои сомнения про себя до более подходящего момента и не удержавшими язык за зубами. В Парчеве были расстреляны – опять-таки Блажевичем! – несколько человек за подобные сомнения еще до нашего возвращения из «караульной командировки». Мы застали тогда свежие рассказы об этом событии.

Я ожидал разноса от Точилова за проявление неверия и сомнений, в то же время был уверен, что он не донесет на меня. Во втором я, конечно, не ошибся, он не побежал к Гилю с доносом на еще одного выявившегося маловера, но и не стал разносить и бранить.

Он пожевал молча губами – так он делал в сомнительных случаях – и сказал, что ему и самому все это очень не нравится, но в то же время нам теперь и деваться некуда. Назад нам дорога закрыта, да и сам он никогда не пойдет назад к Сталину. Лучше хоть с чертом, только не со Сталиным.

– И вам, – он сказал, – не советую думать о возвращении, выкиньте эти мысли из головы, если они у вас появляются. У нас теперь осталась одна дорога – с немцами до конца, какой будет. Победа, так победа, гибель, так гибель. Вы больше ни с кем не делились этой вашей, – он пошевелил пальцами поднятой руки, – «игрой воображения»?

– Нет, – сказал я.

– И не вздумайте, а то не сносить головы, и я не спасу вас, да и спасать не буду. Поняли?

– Понял, – хмуро ответил я.

Перспектива открывалась совсем не такая веселая, как думалось вначале.

Рота Точилова получила назначение охранять железнодорожное полотно Могилев – Рогачев на участке южнее 15-го разъезда, в глухом лесу между Быховом и Рогачевом. Участок моего взвода – сразу за разъездом к югу от него на два блок-поста, т. е. примерно 4 километра. Точилов поставил меня на этот участок, чтобы держать меня поближе к себе, то ли из соображений дружбы, то ли из возможного недоверия и сомнения в моей стойкости. На моем участке имелись следы недавних летних успешных партизанских диверсий – опрокинутый локомотив, разбитые вагоны, валяющиеся под откосом. К концу лета сорок второго положение на этой дороге и было уже таково, что немцы почти не могли ею пользоваться, на перегонах партизаны хозяйничали, как хотели, станции и разъезды прикрывались немецкими гарнизонами, существование которых тоже висело на волоске.

Перед выступлением «на позицию» Гиль объявил устное распоряжение, которым он доводил до сведения следующее: немцы объявили, что, если где-нибудь на охраняемом участке партизанам удастся произвести диверсию, командир того подразделения, которое охраняет этот участок, будет расстрелян.

Хорошенькое дело! Я было собирался не очень-то мешать партизанам заниматься их делами, лишь бы они нас не трогали, а тут, оказывается, такая линия очень просто может стоить собственной головы.

Однако партизаны, узнав, что вдоль полотна встали «войска», уменьшили свою активность – и, между прочим, совершенно напрасно. Мне-то было очень хорошо видно, что с партизанской

стороны проявляется чрезмерная осторожность. Они могли бы, действуя более активно и умело, убрать и нас, и свои диверсии совершить.

Мои посты по 3 человека были расставлены довольно редко – ведь фронт 4 километра, между ними 200–300 метров и более незащищенного полотна. Лес стоит почти вплотную, 10–15 метров от полотна. Сидя в лесу, можно решительно все видеть, все высмотреть, оставаясь совершенно незамеченным. Днем я на ручной дрезине «качалке» разъезжал между постами, ночью ходил пешком по шпалам между ними. Мои ребята сидели в своих блиндажах, не смыкая глаз всю ночь – собственно, для этого я и ходил по постам ночью, – и не рассчитывая дожить до утра. За месяц этой службы произошли только два эпизода, имевшие непосредственное, так сказать, боевое значение.

Однажды, в глухую заполночь, возвращаясь из второго обхода, я с ординарцем чуть не запнулся – в буквальном смысле – за двух или трех партизан, ставивших мину под рельсы. Мы шли молча и тихо, они же так увлеклись своим делом, что услышали наши шаги, когда мы были уже в 3–4 метрах от них, т. е. почти над ними. Осенняя темень в лесу стояла такая, что на этом расстоянии ни черта не было видно. Когда у нас из-под ног взметнулись черные тени и с шумом бросились вниз по насыпи в придорожные кусты, тут только мы очнулись от неожиданности и поняли, что столкнулись лицом к лицу с партизанами. Пока мы срывали автоматы с плеч, из кустов уже загремели выстрелы в нашу сторону. И тут я, не подумав, крикнул ординарцу: «Кулиш, ракету!»

Кулиш – расторопный парень, немедленно запустил вверх немецкую осветительную ракету на парашютике, которая, тихо спускаясь, прекрасно осветила нас, стоящих на полотне, но нисколько не помогла нам разглядеть наших противников! Им бы не убегать, остаться в кустах – и они имели бы отличную возможность всего двумя прицельными выстрелами снять нас обоих и потом докончить установку своей мины. Но мы услышали только удаляющийся треск сучьев под ногами убегающих людей, и все смолкло. Для собственной храбрости и успокоения мы дали несколько бесполезных очередей в ту сторону, куда убежали наши противники, и принялись, светя фонариками и с осторожностью, разглядывать место намечавшейся диверсии. Мы обнаружили четыре пачки взрывчатки, прикрученные к рельсу проводом с обеих сторон. Под рельсом была выкопана небольшая ямка, чтобы пачки легли удобнее, в пачках были вертикальные отверстия для установки детонаторов, которые должны были быть раздавлены ребордой локомотивного переднего колеса, чтобы

последовал взрыв. Как видно, опоздай мы на пять минут, не больше – и они успели бы закончить свою работу и уйти, а мы спокойно прошли бы мимо, ничего не заметив в этой чертовой темноте. Ближайший поезд взлетел бы на воздух, а мне, возможно, не удалось бы написать об этом рассказ.

Этот партизанский неуспех я никак не отношу к своей доблести, а исключительно списываю его за счет растяпистости тех подрывников, которые исполняли это дело – ведь у них было столько возможностей убрать меня с моим ординарцем, в том числе и совершенно бесшумно. Для этого достаточно только было броситься не с насыпи вниз, а прямо на нас – они обнаружили нас раньше, чем мы их! А потом те секунды, когда, освещенные на полотне, мы стояли во весь рост и были готовыми мишенями! Уж мы с моим Кулишем были неумелые вояки, но наши противники показали себя еще большими растяпами. Однако обнаруженная нами и «обезвреженная» – а без детонаторов и совсем безвредная – мина доставила нам честь, и одобрение, и похвалы, и была отправлена в штаб к Гилю, а тот передал ее немцам, как доказательство бдительного несения службы дружинниками.

Скоро Гилю представился случай снова написать громко-победную реляцию. Поводом послужило опять происшествие на моем участке.

Однажды ночью, в конце сентября, партизаны осуществили перевод крупного партизанского отряда через полотно железной дороги. Очевидно, днем еще их разведка хорошо высмотрела из лесу наиболее удобное для перехода место между далеко отстоящими друг от друга двумя постами, ночью они скрытно и тихо подошли вплотную к полотну, накопились в лесу, затем быстро выставили на полотно станковые пулеметы в обе стороны, в направлении постов, и открыли шквальный огонь длинными очередями вдоль полотна. Под прикрытием этого сплошного огня они благополучно и быстро переправили своих людей и обоз. Я был в этот момент на соседнем посту, и до нас долетали только отдельные пули на излете и рикошетировавшие, т. е. самые визжавшие, и прежде, чем мы успели добежать до ближайшего атакованного поста, все уже кончилось, в блиндаже мы застали целехоньких ребят, творивших молитву: «Пронеси, царица небесная». Для порядка мы немного постреляли в лес, а утром я составил донесение о состоявшейся ночной стычке с целым партизанским отрядом, которому мы не смогли – из-за малости наших сил – воспрепятствовать переправиться через полотно. Точилов показал мне потом со смехом родионовскую сводку, представленную им для немцев, с отчетом об этом эпизоде. Он был изображен, как наша очередная блестящая победа, когда

одно отделение дружинников, под командой случившегося тут командира взвода имярек, не допустило перехода партизанами полотна железной дороги. Мы с Точиловым тогда дружно пришли к общему выводу: так беспардонно и нахально врать может, ей-богу, только еврей. У русака не хватило бы нахальства, что-нибудь бы да ему помешало! Точилов тоже слыхал, что Гиль – еврей, искусно скрывающий от немцев свое происхождение, и узнав от меня, что это же слышал я от еврея, политрука в Молодечно, укрепился в своей уверенности. Еще подивились мы, что знают многие – а никто не донес до сих пор!

Сергей Петрович сказал мне, что и все остальные сводки составлялись Гилем в таком же духе, и ни разу немцы не предприняли никаких намерений проверить их правильность.

4

Гиль назначил Точилова начальником Отдела пропаганды штаба Дружины. Точилов сдал роту, а через несколько дней новый командир, незнакомый мне майор из новых, вызвав меня с линии, сказал мне, чтобы я сдавал взвод своему помощнику, а сам отправлялся в штаб с вещами.

– Вас отзывают, я думаю, что Точилов, – мрачновато сказал он. Ему не хотелось расставаться с человеком, уже хорошо знающим местную обстановку.

Действительно, прибыв в Быхов, в штаб, я узнал, что Точилов выговорил у Гиля себе еще и «штаб». Какой же начальник отдела без отдела! Так я стал номинально помощником начальника отдела пропаганды Дружины.

С этого дня у меня появилась возможность наблюдать непосредственно вблизи всю жизнь Дружины и особенно ее руководства и штаба.

В связи с нашим переездом из Польши в Белоруссию произошел целый ряд существенных перемен в руководстве.

Блажевич был оставлен Гилем в Люблине, якобы для формирования второй дружины. С ним вместе было оставлено несколько человек из первой сотни. Теперь начальником штаба ходил высокий подполковник Орлов, со своей вечной загадочной полуулыбкой, как у Джиоконды. Никогда нельзя было понять – улыбается он или нет? А если улыбается, то чему?

Ряды ветеранов поредели. Из первой сотни, вышедшей 1 мая из Сувалок, уже насчитывалось не больше восьмидесяти, кое-кто и погиб…

Командные высоты в Дружине достались ветеранам далеко не все, и те – второстепенные. Начальник санчасти – доктор Борзиков, с которым мы вместе были в лазарет-блоке сувалковского лагеря. Начальник связи – капитан Новиков, горький пьяница. Однажды, по молодому делу возвращаясь поздно ночью по сонному Быхову, я был вдруг обстрелян к своей полной неожиданности. Отскочив под прикрытие забора и прислушавшись к звукам выстрелов, я определил, что стреляют из пистолета, да кроме того еще и из канавы. Я окликнул, сообразив, что это какое-то недоразумение. Мне ответил голос капитана Новикова, еле ворочающего языком. Сосчитав число выстрелов, я понял, что капитан расстрелял всю обойму и больше не пальнет, и подскочил к нему, когда он уже засыпал, после своей стрельбы. Смазав пару раз ему по щекам, взвалив себе на спину, кое-как дотащил его к нему на квартиру.

Точилов был начальником пропаганды. Еще начальник снабжения был наш, старый, майор Андрусенко, а все остальные ключевые посты постепенно позанимали «варяги».

При Дружине все время находился немецкий «Ferbindungsschtab», т. е. штаб связи дружины с командованием войск СС данного района. Этот штаб состоял из полутора-двух десятков немцев: офицеров, унтер-офицеров и солдат. Во внутреннюю жизнь Дружины они не вмешивались. Не трудно было заметить, что эти люди, немцы, были весьма довольны тем, что им удалось пристроиться вроде и при действующей боевой части, и в то же время в тылу и без необходимости самим участвовать в боевых действиях.

К этому выгодному обстоятельству присоединялось еще и другое, весьма немаловажное. Дружина, как часть войск СС, снабжалась по фронтовому эсэсовскому довольствию, т. е. значительно лучшему, чем части вермахта. В паек входили такие остродефицитные вещи, как шоколад, кофе в зернах, французские коньяки и другие подобные продукты. Лишь незначительная часть этих дефицитов отдавалась немцами собственно для Родионова и его ближайшего окружения. Основная же масса продуктов присваивалась ими и пересылалась «нах фатерланд», в Германию, их семьям.

Родионов каждый месяц находил повод устроить какой-нибудь праздник с большой попойкой. Солдатам и офицерам линейных подразделений готовился лучший обед и выдавался шнапс, офицерам штаба, с обязательным приглашением всех немцев фербиндунгсштаба, устраивался настоящий банкет с богатым столом, французскими коньяками и концертом самодеятельного ансамбля.

Таким путем авторитет у немцев Родионов заимел очень большой. Вскоре на такие банкеты зачастило и высокое эсэсовское начальство, в ранге бригаден-фюрера и выше. Родионов принимал их без проявлений подобострастия, почтительно, но достойно. Умел «держать марку».

Уезжало начальство обязательно с большими пакетами – подарками на память о Дружине.

Очень скоро чины фербиндунгсштаба перестали выезжать со штабом Дружины на боевые операции, предоставив Родионову полную свободу действий. В то время эти действия вызывали у меня немало удивления.

Уже за 3–4 дня до намечаемой операции всем становилось известно о том, что Дружина собирается выступать. Не секретом было и то, куда она намеревается двигаться, какой район и местность намечено посетить для разгрома имеющихся там

«большевистских банд». Ничего не было удивительного в том, что, прибыв на место назначенной операции, мы находили покинутые партизанские стоянки. Вот деталь.

Дружина движется по лесной, глухой дороге на подводах, мобилизованных у местных крестьян. Обоз растянулся больше чем на километр. Впереди, как и положено, передовое охранение. Остановка в лесу. Вдоль по обозу передается команда: «По красной ракете массированный огонь из всех видов оружия по лесу». Через положенное время ракету пускает сам Родионов. Сплошной грохот стрельбы в течение нескольких минут. Еще 10–15 минут стоянки, снова красная ракета, снова неистовая пальба. Еще через несколько минут возобновляется движение. Через 30–40 минут колонна втягивается на лесную поляну столько что покинутыми землянками, бывало, даже с неостывшими котлами. Еще стрельба во все стороны, поджог землянок и возвращение восвояси. Очередная победная реляция: сотни уничтоженных бандитов, сожженные лагеря, списание боеприпасов, «израсходованных» в боях. По случаю «победы» – очередной банкет.

5

Отдел пропаганды был организован – нужна была и какая-то деятельность с его стороны. Точилову нравилось выступать с лекциями и докладами, и он охотно взял на себя эту обязанность, мне же поручил организацию клуба. Собственно клуб, при бродячей жизни Дружины, организовать так и не пришлось, но библиотеку я создал. Пригодилась тут и старая любовь к книгам, и умение их находить. Во время походов по деревням и селам я скупал, где удавалось, за хлеб, сахар, мыло и другие подобные предметы у населения книги дореволюционных и советских изданий. С майором Андрусенко, нашим начпродом, старым сувалковцем, Точилов договорился, и тот подбрасывал нам со своего склада некоторое количество продуктов, нужных для подобных закупочных операций. Немецкого цензора надо мной приставлено не было, и я не отсортировывал книги по их содержанию: русские и зарубежные классики стояли вперемежку с советскими писателями. Точилов поворчал немного, но согласился со мной, что наши люди должны читать то, к чему они привыкли, если мы не хотим потерять доверие в их глазах.

Другой моей обязанностью было доставание газет на русском языке, а это представляло в то время немалые трудности. Местные газетенки, печатавшиеся в Смоленске и Могилеве, были настолько беспардонно пронемецкими, лакейски услужливыми, что в них только язык и был русским, больше же – ничего. Нам с Точиловым противно было самим их в руки брать, не только что «воспитывать» на них наших людей. Берлинское «Новое слово» официально не была разрешена для распространения ее среди добровольцев, и приходилось нарушать запрет, доставая ее и давая читать желающим, но и она лучше местных газет была только в отношении культуры языка, литературности – там печатались Тэффи, Шмелев, Бунин и другие эмигрантские знаменитости. Но по направлению она мало чем отличалась от местных газетенок, разве что не было такого откровенного пресмыкательства перед немцами. Лишь с появлением специального издания, предназначенного прямо для нас, – газеты «Доброволец», подписываемой Жиленковым, генерал-лейтенантом, как главным редактором, снабжение печатным периодическим словом стало легче. Эта газета заговорила с нами языком, который нам больше нравился и был при тогдашних наших настроениях нами приемлем. Главной особенностью этой новой газеты было то, что она умела говорить и писать между строк, давать напечатанным словам еще и другой смысл, который

мы легко угадывали с нашей привычкой к эзоповому языку, выработанной нами еще дома, на советской родине.

Гиль ловко уводил Дружину от прямых действий в полном составе против крупных партизанских сил. Что это было – «политика» на всякий случай, или нежелание рисковать? Не думаю, чтобы он просто жалел людей – слишком холодный, черствый и расчетливый человек он был, чтобы руководствоваться такими чувствами. Мы с Точиловым быстро поняли эту тактику и, не сговариваясь друг с другом, одобрили ее. И сделали из этого вывод – пропаганду, направленную прямо на разжигание ненависти к партизанам, нам вести не следует – мы и обходили эту тему, благо над нами по-прежнему никого не было.

Однако отдельные подразделения Дружины во время самостоятельных действий вступали в непосредственные боевые контакты с партизанами. Так, помню об очень серьезной схватке нашей офицерской роты, встретившейся с целым партизанским соединением, неправильно оценившей обстановку и напавшей на партизан. Очень скоро рота была оттеснена на деревенское кладбище, окружена и только ценой больших потерь вырвалась из кольца окружения. Там погиб, прикрывая с пулеметом отступавших, один лейтенант, Саша Попов, геолог из Москвы, певун, гитарист, знаток поэзии, с которым у меня только что начала складываться хорошая дружба. Это была какая-то невезучая рота. Всего за три недели до этого злополучного боя один взвод этой роты, ехавший на трех машинах по лесной дороге, нарвался на искусно устроенную партизанскую засаду, был обстрелян на ходу из двух ручных пулеметов и винтовок и понес большие потери убитыми и ранеными. И все-таки нельзя было не видеть, что во многих случаях, действуй партизаны более решительно и умело, они могли бы достигать значительно больших успехов в борьбе со своими противниками, в том числе и с нами. Такая засада, например, была устроена всего одна, тогда как не составляло ничего невозможного делать их чаще. Снимать с постов охрану полотна также можно было сравнительно нетрудно, при наличии решительности, разумеется.

И все-таки партизаны изловчились нанести нам очень чувствительный удар – опять по той же офицерской роте.

После того злополучного боя на кладбище, когда рота еле-еле унесла ноги из партизанского окружения – а могла и не унести, если бы те действовали решительнее, – ее отвели на отдых и на пополнение на охрану моста через Друть на дороге Могилев – Бобруйск. Там ее и доконали партизаны, но не уничтожением, а уводом. Это место, где стояла рота, было отрезано от штаба, и мы

с Точиловым там даже ни разу не успели побывать, а за это время – всего-то недели три, не более – партизаны сумели наладить личные контакты, распропагандировали всех, подговорили перебить немцев, охранявших мост, и перейти всем составом к ним. В ночь на 25 ноября это и случилось. И мост взорвали!

Это была очень крупная неприятность для Гиля, но он с ловкостью уладил с немцами и этот явный провал. Одно время мы с Точиловым подумывали, не обвиноватил бы он нас за то, что мы там ни разу не были, никакой пропаганды в роте не вели, ничего не противопоставили разлагающей работе партизан. Но Гилю и в голову не пришло винить нас.

Вместе с этой ротой ушел в партизаны и мой дружок, старший лейтенант Артеменко. Еще раньше другой наш товарищ по охране польского имения под Парчевом, капитан Игнатенко, командовавший взводом в одной из рот, ушел к партизанам самостоятельно, прихватив с собой своего ординарца. Все меньше оставалось сувалковцев.

Вообще, переходы в партизаны отдельных людей были делом довольно обычным. Меня удивляло, что переходят мало. При той безыдейности, в которую мы оказались погружены, можно было бы не удивляться и полному развалу. Впрочем, в свое время и он наступил.

6

Наступил новый, 1943 год. Еще не проветрились головы с новогоднего похмелья, как получаем приказ покинуть Быхов и двинуться к Бобруйску. Весь январь, февраль и начало марта провели в движении. По замыслу немцев мы должны были по мере движения громить партизан, очищать от них те местности, где будем проходить. Но вот диво – партизан не было. То есть они, конечно, были, только мы их не видели. Целый месяц мы двигались вдоль старой западной границы на юг, выйдя на нее западнее Минска, якобы преследуя партизанское соединение, с которым так за все время ни одного контакта и не произошло. После полуторамесячных мотаний нас остановили в Слуцке, и целый месяц еще мы жили там на казарменном положении, и там пришлось всем нам пережить неприятные минуты.

В феврале завершилась сталинградская катастрофа немцев. Армия Паулюса капитулировала. Немцы объявили трехдневный траур и были раздражены и злы. Свою злость они сорвали на евреях. В Слуцке было большое гетто. Однажды утром мы узнаем, что гетто горит, а его обитателей немцы вывозят за город и там расстреливают. Нас всех охватило общее чувство омерзения к этому чудовищному делу и вместе с тем страх, не бросят ли и нас немцы на помощь себе туда же. Однако этот страх был неоснователен. Как оказалось потом, и мысли такой у немцев относительно нас не возникало. У них были «специалисты» по таким делам, дилетантов им не было нужно. Мы же только с расстояния трех километров видели, как догорали дома гетто, как выезжали за город большие черные крытые брезентом машины и скрывались вдали. Из города доносились до нас звуки редких одиночных выстрелов.

Уже через два дня мы снова были в пути.

Оказалось, Гиль добился согласия немцев на предоставление ему в качестве опыта целого района для самостоятельного управления, без вмешательства немцев. Он выдал им обязательство очистить предоставленный ему район от партизан, установить свою местную администрацию и выполнять поставки, требуемые немцами с населения. Такой район ему был предоставлен к северо-востоку от Молодечно с центром в небольшом селе Лужки, на берегу речки Мнюта-Шоша.

Маленькое белорусское село Лужки с церковью, стареньким священником и такой же старенькой матушкой. Когда мы прибыли, батюшка отслужил молебен за дарование победы христолюбивому воинству. А «христолюбивое воинство» тем

временем разбрелось по дворам в поисках самогона, а также и «в рассуждении, чего бы покушать». В селе было довольно много пустых домов, даже и с сохранившейся обстановкой. Нам с Точиловым достался один такой уютный домик, имевший внизу три просторные комнаты, кухню и летнюю комнату наверху с выходом из нее на чердак.

Ох, как выручила меня потом такая планировка дома!

Вскоре после нашего прибытия в Лужки туда же приехал А.Э. Блажевич, теперь уже майор, во главе большого отряда численностью около 800 человек, который назывался Второй Дружиной. Наша основная Дружина была переименована в «Первую». Вскоре начались всевозможные реорганизации. Немецкий фербиндунгсштаб оставался при нас, но не видно было, чтобы он как-то вмешивался во внутреннюю жизнь обоих отрядов. Очень скоро обе Дружины сливаются в один отряд, названный Первым русским национальным полком. Гиль и Блажевич получают звания полковников, Точилов – майора, мне дают старшего лейтенанта, все ветераны также получают повышения. Командиром полка назначается Гиль, его уже зовут только по псевдониму – Родионов, начальником штаба тот же загадочный, теперь тоже полковник, Орлов, а Блажевич возглавил Службу Безопасности, этакое доморощенное «СД».

К нашему удивлению, он привез с собой в качестве самого ближайшего своего помощника бывшего генерал-майора Богданова, которого мы знали еще по Сувалкам, только теперь бывший генерал состоял при особе Блажевича в чине капитана. Бывший генерал в чине капитана состоит на побегушках у бывшего капитана же, теперь майора! Черт знает, что происходит в этом мире! Пересудов и насмешек всякого рода было без числа. Но при общих повышениях не был забыт и бывший генерал. В новом штабе и он уже числился теперь в звании майора, и его Блажевич взял к себе в свой отдел Службы Безопасности в качестве заместителя и начальника следственной части.

Постепенно прояснялось, откуда прибыла, как возникла и какую «биографию» имела эта Вторая Дружина. Оказалось, что она была сформирована Блажевичем (точнее, конечно, немцами с помощью Блажевича) в Люблине, где он был оставлен в прошлом году, когда нас увезли в Смоленск. Люди из Второй Дружины были не очень-то разговорчивы о своих делах в Люблине, но по отдельным их отрывочным рассказам и по бахвальству самого Блажевича нетрудно было установить, что в Люблине они занимались не чем иным, как истреблением евреев! Это было видно уже и по тому, что Блажевич приехал в персональном вагоне, битком набитом всевозможным дорогим имуществом.

Заняв под свою особу целый большой дом в Лужках, он набил весь этот дом своим имуществом и все хвастал перед другими офицерами этим богатством. Мы же с Точиловым у себя «дома» между собой говорили: «И это ведь вчерашние коммунисты, члены партии! И Гиль, и Блажевич, и, уж конечно, Богданов, – все были коммунистами и не скрывали это в лагере. Сколько же еще таких людей найдется у большевиков в их партии?»

Под Службу Безопасности был также отведен целый дом с большим подвалом, немедленно оборудованным под внутреннюю тюрьму, сразу же и заполненную заключенными из своих же дружинников, арестованных по доносам за симпатии к красным, и местных жителей за связи с партизанами. Допросы арестованных вели Блажевич и Богданов, сопровождая их зверскими избиениями несчастных людей, и трудно сказать, который из них уступал другому в этих истязаниях. До нас с Точиловым доходили глухие слухи об этих делах главным образом через наших ординарцев, которые сами кое-что узнавали от ординарца Блажевича. Ординарец Точилова Карпенко еще в лагере дружил с парнем, которого потом Блажевич выбрал себе в ординарцы.

Из своей тюрьмы Блажевич с Богдановым редко кого выпускали. Разве кого из местных жителей, за которых их родные привозили богатый выкуп. У нас с Точиловым произошло знакомство с молодой русской женщиной, эмигранткой, младший брат которой попал в застенок Блажевича. Наше с Точиловым заступничество не привело ни к чему. Но парня все-таки выпустили. Потом на мизинце Блажевича мы увидели дорогое бриллиантовое кольцо, которое мы не раз видели раньше на пальчиках нашей знакомой…

Блажевич придумал еще в Люблине знамя для своей Второй Дружины – огромное черное бархатное полотнище с вышитыми золотом черепом и костями. Вышивали, конечно, евреи, после расстрелянные. Это чудовищное знамя он и повесил теперь на высокой мачте над домом своей «Службы», и казалось, что черная тень его покрыла все тихое сельцо Лужки. Начался самый мрачный период существования Дружины, теперь уже – полка… Точилов вечерами ходил из угла в угол большой комнаты, служившей нам столовой и тихо стонал: «Что же это делается? Кто дал нам право распоряжаться жизнями людей? Чем это все кончится?» Я сердился, когда слышал это «нам», и выговаривал ему: «Сергей Петрович, мы-то с вами здесь при чем? Не мы ведь творим эти безобразия, а Блажевич с Богдановым, они и виноваты…» Он останавливался и говорил, сверкая глазами сквозь очки: «Все мы виноваты…»

Свою работу мы как-то само собой свернули – на общем фоне той жизни, которая сложилась с приездом Блажевича и его людей, нам нечего было говорить людям, не с чем было идти к ним. Опять нас спасало то, что над нами никто не стоял, никто и не требовал от нас никакой работы. Немцы не вмешивались, а Гилю было наплевать на все. Он завел себе молодую бабу и все больше пил. Вокруг него создавался все более узкий круг прихлебателей и собутыльников. Я не был вхож в этот круг, но Точилов какое-то время принадлежал к нему и приносил мне все более и более пугавшие меня рассказы о полной безыдейности, царящей в этом кругу, о бесперспективности всего дела, о воцарившемся настроении, которое точнее всего описывается, как «пир во время чумы».

В то же время из батальонов и рот к нам стали поступать от знакомых офицеров приглушенные рассказы о том, что по устным распоряжениям, поступающим из штаба, в укромных уголках леса закапываются ящики с боеприпасами и консервами, неизвестно для какой цели припрятываемыми, с другой стороны, растет число перебегающих в партизаны и просто дезертирующих солдат. Гиль с согласия немцев провел «мобилизацию» молодежи из местного населения под тем предлогом, что их все равно заберут к себе партизаны. Эти-то мобилизованные парни и дезертировали чаще всего. Численность бывшей Дружины уже превысила 3 тысячи человек, и она была переименована в Бригаду. Ее гарнизоны стояли уже во многих селах и деревнях, а это облегчало партизанскому руководству работу по разложению гарнизонов. Хотя нам и дали в помощь несколько офицеров-пропагандистов в порядке расширения нашего штата, но это нисколько не меняло сути дела, потому что нам нечего было противопоставить естественному процессу протрезвления людей. Мы с Точиловым это хорошо понимали.

Становилось яснее и отчетливее с каждым днем, что в конце концов добром это не кончится, и либо нас раздавят партизаны, которые со всех сторон жали все больше и сильнее, либо сами немцы наконец раскусят непонятную двойную игру, которую ведет с ними Гиль-Родионов, и с треском разгонят всю нашу «фирму», постреляв кое-кого и нас в том числе за неумелую пропаганду.

7

За весь апрель была только одна «операция», которую Гиль предпринял составом всей бригады. Мы обязаны были участвовать в ней вместе со всем штабом. Целью операции был разгром партизанской «столицы», находившейся в то время в бывшем районном центре Кубличи, в нескольких десятках километров от Лужков.

За двое суток очень неспешного марша отдельными колоннами по раскисшим весенним дорогам мы вышли на исходный рубеж для начала наступления на Кубличи и расположились в нескольких селах в 7–8 километрах от Кубличей. Села были совершенно пусты, население полностью ушло из них, бросив на произвол судьбы все свое незатейливое имущество. К чести Гиля надо сказать, что мародерство было строжайше запрещено и пресекалось самым решительным образом, вплоть до расстрелов, и одной из наших обязанностей, которую мы выполняли охотно и даже со рвением, было постоянное напоминание и офицерам, и солдатам о недопустимости мародерских действий, от которых будут страдать только наши же, русские люди. Хоть мы и заняли оставленные населением дома, но никто не думал растаскивать брошенный скарб. Не только наши помощники пропагандисты, но и мы сами с Точиловым обходили части и не уставали твердить офицерам о необходимости строжайшего выполнения приказов Гиля о соблюдении порядка и дисциплины.

В деревне, где расположился штаб, Блажевич с Богдановым остановились в отдельном доме. Их ординарцы на двух подводах возили за ними большой багаж, необходимый для организации полного комфорта и уюта для обоих этих персон. Когда мы с Точиловым проходили мимо, Блажевич и Богданов и еще несколько офицеров стояли у крыльца и что-то говорили, громко смеясь. Увидев нас, Блажевич крикнул Точилову, чтобы тот подошел, вместе с Сергеем Петровичем подошел и я. Все были в «подпитии» и смеялись, по-видимому, какому-то анекдоту, рассказанному Блажевичем.

Задав несколько малозначащих вопросов Точилову, Блажевич сделал какой-то знак Богданову, и тот опрометью бросился на крыльцо и скрылся в доме. Что бы это значило? – подумалось мне. Через несколько минут дверь открылась, и на крыльцо вышел Богданов. Обеими руками перед собой он держал маленький, блестящий, по-видимому, серебряный подносик с двумя рюмками на нем, наполненными до краев водкой, и

медленно, осторожно спустился по ступенькам, боясь расплескать. Так же осторожно он поднес этот прибор своему шефу. Тот взял одну рюмку и кивнул Богданову головой в сторону Точилова. Богданов поднес и ему. Сергей Петрович отказался:

– Не хочу…

Блажевич говорит:

– Что, брезгуешь, Сергей Петрович?

Тот опять сказал:

– Не хочу.

– Ну ладно, как хочешь… – сказал Блажевич и, минуту помолчав, добавил: – Сергей Петрович.

Как недобро это у него было сказано, так и вся странная сцена с открытым, у всех на глазах бесстыдным лакейством бывшего генерала запали мне в память на всю жизнь. Меня поразила она какой-то обнаженностью отношений этих трех людей.

– Пей! – сказал Богданову Блажевич, махнув подбородком в сторону рюмки, все еще стоявшей на подносе в руках у Богданова. Тот с гадкой улыбочкой опрокинул рюмку в рот и передал поднос с опорожненными рюмками к подскочившему ординарцу Блажевича. Тот уже отвернулся от нас с Точиловым и продолжал разговаривать с другими офицерами, стоящими рядом. Но спектакль, который так поразил меня, еще не кончился. С еще большим, чем прежде, удивлением я увидел, как Богданов подошел к Блажевичу сзади и стал прямо с какой-то нежностью снимать у того пушинки со спины шинели. Даже привыкшие ко многому офицеры свиты Блажевича, и те, глядя на это, переглянулись между собой… Мы же с Точиловым пошли прочь, не оглядываясь.

– Сергей Петрович! – сказал я, когда мы отошли подальше. – У вас с Блажевичем открытая ссора, что ли?

– Да, я схватываюсь с ним всякий раз, когда бываем вместе у Гиля. Не могу больше терпеть то, что мы видим.

– Ну, а что Гиль?

– А Гиль старается, чтобы не дошло до открытого разрыва, пробует помирить нас, всякий раз хочет повернуть все дело в шутку, да у него это плохо получается. То ли он сам боится Блажевича, то ли втайне одобряет его действия, я что-то не могу понять.

– Ну и черт с ними, зачем вам с ними ссориться, особенно с этим Блажевичем. Насмотрелись ведь мы на него уже достаточно. От него можно ждать чего угодно…

– Я думаю, что над нами уже занесена секира… Надо мной,

во всяком случае!

– Чья секира? – спросил я.

– Блажевича, конечно… – ответил Сергей Петрович.

Ночью упал густой туман. Мы ждали контратаки партизан, но ее не было. Вместо этого на рассвете послышались разрывы артиллерийских снарядов и долетавшие после хлопки дальних пушечных выстрелов. Стреляли из одной пушки, поэтому и выстрелы, и взрывы снарядов были редки. Артиллеристы, видно, были у партизан доморощенные, орудие не пристреляно, корректировки огня не было никакой, и снаряды падали где-то далеко за деревней на поле, то с одной стороны, то с другой, не принося нам никакого вреда. Взрывы даже не были видны в густом тумане. У нас была целая артиллерийская батарея, и орудийные расчеты были из профессионалов, нам ничего не стоило подавить огонь этой партизанской пушечки, но Гиль даже не скомандовал ответить огнем на партизанскую стрельбу, а приказал отойти.

Изменив маршрут движения в сторону Полоцка и не попытавшись штурмовать Кубличи, побродив еще с неделю по дорогам северной Белоруссии, мы вернулись в Лужки.

Совсем незадолго до этой последней операции, в которой я последний раз видел Гиля и его людей в «деле», были получены газеты с опубликованным обращением пленного генерала Красной Армии А.А. Власова ко всем русским людям подниматься на борьбу с большевизмом на нашей Родине. В обращении перечислялись 13 пунктов, на основе которых должна была организовываться эта борьба.

О самом генерале Власове мы знали только то, что он попал в плен в начале июля 1942 года где-то внутри треугольника Ленинград – Мга – Новгород после развала 2-й Ударной Армии, неудачно наступавшей зимой сорок второго и весной попавшей в полное окружение. Слышали и о том, что этот генерал был одним из тех удачливых генералов первого периода войны, о котором много и в хвалебном тоне писала советская печать и пропаганда в начале войны.

После его пленения о нем ничего не было слышно. И вот теперь мы видим его фотографию – длинное лицо в больших круглых роговых очках с толстыми дужками. Читаем его 13 пунктов, и они зажигают нас снова огнем, который уже было стал совсем затухать. Генерал призывал нас объединяться и подниматься на борьбу со сталинской тиранией на нашей Родине, используя благоприятный исторический момент, опираясь на помощь немцев, их оружие, организационные возможности, но добиваясь своих, русских целей. Эти цели в общем виде

излагались в пунктах власовского обращения и сводились к отказу от авторитарной формы управления страной, к роспуску колхозов, к введению частной собственности на землю, на средства производства и торговлю, к отмене ограничений частно-предпринимательской индивидуальной деятельности и к послевоенному союзу и дружбе с Германией. Самым подкупающим в этом документе был его тон. Совершенно отсутствовали всякие реверансы и расшаркивания в адрес немцев, никакого низкопоклонства перед ними не было и следа, и они рассматривались как «союзники в общей борьбе», помощь которых оказывается так кстати…

Обращение Власова было совершенно неожиданно, и оно вызвало растерянность и разброд в наших головах.

До сих пор главным козырем нашей пропаганды было то, что мы – первые, поднявшие знамя антисоветизма, первые, присоединившиеся к немцам для борьбы с большевизмом, и мы должны поэтому идти во главе этого дела. Мы уже, так сказать, своей кровью доказали верность идеям антибольшевизма, а тут является какой-то Власов, который был еще на той стороне, когда мы уже начали на этой… Что ж, теперь мы, значит, на второй план? Таким было настроение многих, и именно таким оказалось настроение и самого Гиля и всего его штаба, во всяком случае той части штаба, которая близко стояла к Гилю. На первых порах и Точилов поддался такому же строю мыслей и полностью поддержал местнические амбиции Гиля и его штаба.

Мне же сразу стало очевидно, что и правда, и сила на стороне Власова и людей, которые вокруг него должны быть, и которых мы еще просто не знаем, но теперь уже, очевидно, скоро узнаем. О Власове пишут газеты, а о нас кто пишет? Власов призывает к борьбе с советской властью на основе определенной программы, а где наша программа? Он говорит о союзе с немцами, а мы целый год говорим только о борьбе «под верховным водительством немцев и их фюрера Адольфа Гитлера»? Так за кем же все-таки пойдут русские люди – за Власовым или за нами?

У меня сразу же произошел резкий спор с Точиловым, и я весь вечер и значительную часть ночи проспорил с ним, пытаясь убедить его, что если и есть какие-то шансы на успех нашего дела, то они принадлежат Власову и тем, кто пойдет с ним, а никак не нам. Возражения Точилова с местнических позиций были слабы. Проспорив со мною в тот вечер допоздна, он под конец возражал уже как-то вяло и больше по инерции и из упрямства, не желая сразу признаваться в своей неправоте. Утром он встал хмурый, невыспавшийся и сказал, что я прав. Он имел мужество признаваться в своей неправоте, когда в этом

убеждался. Это была моя большая победа, и в душе я был горд ею, хотя и постарался ничем не проявить это внешне, чтобы не обидеть Сергея Петровича, к которому я за этот год искренне привязался.

Между нами решено было отстаивать эту, теперь уже нашу, точку зрения – о необходимости признать генерала Власова нашим идейным руководителем и согласиться с его принципиальными установками.

В тот же день Родионов собрал весь штаб в полном составе для обсуждения ситуации. Он доложил о появившемся обращении Власова, подверг саркастической критике пункты этого обращения, особенно напирая на принижение роли немцев в деле борьбы за освобождение России от большевизма, и уж совсем истер Власова в порошок тем, что Власов еще воевал на стороне большевиков в то время, когда мы уже воевали против них на этой… Все другие выступавшие продолжали говорить в том же духе. Сергей Петрович оказался единственным, кто выступил с осуждением местничества и с предложением опубликовать в печати приветствие Власову и присоединиться к его платформе. После его выступления Гиль обратился ко мне:

– А заместитель начальника пропаганды что думает по данному вопросу?

Я ответил:

– Полностью разделяю и поддерживаю взгляды майора Точилова.

– Та-ак… – сказал Гиль.

В рядах судивших послышался чей-то голос:

– На черта нам нужен такой Отдел пропаганды…

В последующих выступлениях мы получили отпор дружный и враждебный.

Мы вернулись домой. Точилов был мрачен. Он сказал мне, когда мы сели обедать:

– Ну, теперь вы видите, что над нами занесена секира?

– Да, похоже… – пришлось ответить мне.

Несомненно, нас ждал какой-то удар. Самым легким был, конечно, разгон нашего Отдела пропаганды, лишение нас наших «постов», возможно и разжалование. Однако, зная нравы и обычаи, воцарившиеся в бывшей Дружине, следовало готовиться к худшему, в том числе и к самому худшему. Мы уже представляли себя в застенках подвала Блажевича-Богданова…

Удар запаздывал – видимо, Гиль как-то не мог сразу решиться ликвидировать нас, старых товарищей еще по Сувалкам. Так это было или нет, но прошло несколько дней, а нас не трогали, и тут подоспело новое событие.

Возвратившись из бесплодного похода на Кубличи, мы узнаем, что в Глубокое, где был расположен штаб немецких территориальных частей, прибыла группа русских офицеров – два генерал-лейтенанта, два полковника, два капитана и старший лейтенант в качестве переводчика. Задачей этой группы было принять от Родионова (Гиля) командование Бригадой, которая включается в состав организуемых Власовым русских войск для продолжения войны вместе с немцами против Советов…

Переполох в штабе Родионова это сообщение вызвало чрезвычайный. Последовал непрерывный ряд совещаний без приглашения Точилова. До нас дошло только, что на этих совещаниях решено было всеми средствами бороться против передачи этим офицерам наших частей. В крайнем случае уступить батальон, даже полк, но не отдавать всю бригаду. Серьезным возражением было то, что силы неравны… Там два генерал-лейтенанта, а у нас…

Тут-то и вспомнили, что ведь и у нас есть генерал-майор, теперь, правда, майор, Богданов. Надо немедленно восстановить его в звании! Трагическое и комическое, говорят, всегда рядом. Теперь это мы все видели своими глазами.

Блажевич привез из Люблина бригаду портных, сапожников и других мастеровых людей, из евреев, конечно, которым была сохранена жизнь до поры до времени по причине их профессиональной нужности. Теперь этим евреям под страхом немедленного расстрела было дано задание – за несколько часов, оставшихся до приезда власовских генералов, сшить генерал-майорскую форму майору Богданову. Работа закипела. Последние стежки дометывались, когда машины с посланцами Власова, в сопровождении сильного немецкого конвоя для охраны в пути, уже въезжали в Лужки.

Бедного и счастливого Богданова обрядили в новенькую генеральскую форму и уже готовы были выпустить навстречу приезжим, как обнаружилось, что на брюках господина генерала нет лампасов, этих широких полос красного сукна, по которым за полверсты можно отличить генерала от простого смертного! Откуда было знать этим несчастным евреям про генеральские лампасы, когда они никогда живого генерала и в глаза не видели, а заправлявший всем этим делом Блажевич забыл проследить, запарившись. Вот-то началась беготня, чертыхания и обещания сейчас же, как только уедут эти проклятые генералы, перестрелять всех евреев, и не только портных. Откуда-то вытащили кусок красной материи, кажется, даже и не сукна вовсе, отхватили от куска длинные полосы, которые пришивать уже не было никакого времени. Пришпилили их булавками к

генеральским штанам, и чуть не тычком в спину вытолкнули свеженького генерал-майора навстречу вышедшим из своих машин приезжим генералам. Мы все вышли следом за ним. На шаг сзади Богданова шел Гиль.

Удивительно бывает безжалостна судьба в иных случаях к одному и тому же человеку, которого она изберет своей жертвой. Богданова, впрочем, никому не было жалко. Это человеческое ничтожество одним внушало ужас, другим презрение и омерзение.

Когда Богданов, взяв под козырек, подтянувшись и изобразив некоторый переход даже и к строевому шагу, направился к приехавшим генералам, правая лампасина, наспех пришпиленная булавкой, отцепилась и повисла на правой штанине. Генералу этого ничего не было видно, и он продолжал шагать, а лоскуток около его штанины, как красный флажок, развевался и мотался при каждом его шаге. Гиль сделал было движение подскочить к Богданову и подцепить лампасину, но было уже поздно, генералы сблизились, ничего сделать уже было нельзя. Оставалось только сделать вид при каменном лице, что ничего не происходит, никто ничего не видит, как одежду на голом короле.

Богданов представился. Он начал было представлять Гиля, собираясь, видимо, представлять приезжим и других старших офицеров штаба, но один из двух приехавших генералов, тот, который был старше возрастом по виду, нарочито громко и четко сказал, чтобы всем было слышно:

– У вас непорядок в туалете, господин генерал, прикажите исправить, – и указал глазами на лампасину. Гиль и Блажевич бросились одновременно, но Блажевич оказался проворнее и, опередив Гиля, быстро упав на одно колено, лихорадочно спеша, подшпиливал злополучную лампасину. Судьба наконец сжалилась над этими людьми, оставив в лампасине булавку, так что Блажевичу удалось довольно быстро произвести операцию по восстановлению генеральского достоинства своего бывшего лакея и отскочить назад. Я подумал – а если бы и булавки тут не случилось? Если бы она выпала из лампасины, когда та болталась? Эта сцена с пришпиливанием недопустимо затянулась бы, и позор ее стал бы тягостен всем, не только ее главным участникам.

Наконец, все кончилось с этой окаянной лампасиной. Еще улыбки бродили по всем лицам, и господа офицеры в обеих группах переглядывались между собой и молча покачивали головами, а церемония взаимных представлений уже началась. Тот же генерал, который безжалостно указал Богданову на непорядок у него со штанами, назвавшись генерал-лейтенантом

Ивановым, представил своих спутников: генерал-лейтенант Жиленков, полковник Кромиади, полковник Сахаров, капитан Ламздорф, поручик Весслер. Богданов представил всех чинов штаба Гиля, не забыв и нас с Сергеем Петровичем.

Нас всех поразил вид вновь прибывших офицеров. Они были одеты в русскую форму с золотыми погонами и бело-сине-красными офицерскими кокардами на фуражках. Рядом с ними мы, в нашей грязно-серой немецкой одежонке, выглядели омерзительно. Приехавшие держали себя без надменности, но с несомненной уверенностью в своей силе. Я впервые увидел что-то вроде заискивания в поведении Гиля, он как будто даже несколько лебезил перед ними, чего никогда не видно было в его поведении перед высоким, даже немецким начальством.

Один из приехавших полковников, Сахаров, был совсем молодым человеком, на несколько лет всего лишь старше меня. Другой был значительно старше, лет 45, не менее. Он имел вид нерусского человека, черный, с подусниками, и говорил с каким-то непонятным еще мне акцентом. Впрочем, его фамилия говорила о том, что он грек – Кромиади. Капитан Ламздорф был высок, тощ и сутуловат, и в лице его видно было что-то грузинское. Потом уж я узнал, что его бабка была грузинка. Поручик Весслер оказался малопримечателен, он имел вид сугубо штатского человека, только обряженного в военную форму. Когда он говорил, он шлепал нижней губой и несколько пришепетывал.

Больше всего мое внимание тогда привлек младший из двух генералов, Жиленков. Мы уже знали его фамилию по подписи газеты «Доброволец», которую он делал как ответственный редактор. Он был среднего роста, коренаст и плотен. На вид ему было около сорока, но потом я узнал, что он одних лет с Сахаровым. Старший генерал, Иванов, казался уже пожилым человеком, за пятьдесят, был очень немногословен, властен и казался очень суровым.

Следом за русскими офицерами подъехала машина с немецкими офицерами, к которым немедленно присоединились офицеры из нашего фербиндунгсштаба. Всех, русских и немцев, Гиль пригласил в помещение штаба для разговоров. Туда же были приглашены командиры полков и начальники отдельных служб и отделов штаба. Приглашен был и Сергей Петрович.

8

Я с нетерпением ждал возвращения Сергея Петровича с этого совещания, чтобы узнать, как же решится судьба Бригады, а значит, и наша судьба тоже.

Во второй половине дня Точилов вернулся какой-то взъерошенный, возбужденный, но – довольный. Он рассказал, что совещание было таким бурным, что он временами думал, что дело дойдет до драки. Генерал Иванов заявил, что он уполномочен соответствующими немецкими инстанциями принять от полковника Родионова его часть, именуемую Первой Русской Национальной Бригадой. Соответствующий письменный приказ находится в портфеле у прибывших с ними немецких офицеров. Приказ был предъявлен.

У Гиля, видимо, был уже готов план обороны, согласованный с «нашими» немцами. Тем тоже крайне невыгодна была передача Бригады новым людям. В их собственной судьбе также должны были наступить перемены в связи с такой передачей, они лишились бы не только спокойной жизни в тылу, но еще и неисчерпаемой кормушки и источника обогащения.

Сначала Гиль начал старую песню о том, что мы «раньше начали». Значит, у нас больше прав по сравнению с приехавшими. На это был получен неожиданный ответ от генерала Иванова. Тот спросил Гиля:

– Когда вы, полковник, приступили к организации Дружины?

– Первого мая 1942 года, – ответил Гиль.

– И сколько у вас было человек под командованием в тот день?

– Сотня.

– А у нас, полковник, в феврале сорок второго года в Осинторфе под Оршей было четыре полнокровных батальона, несколько отдельных специализированных рот и артдивизион. Этими силами мы командовали и воевали, когда вы, полковник, сидели еще за проволокой в Сувалках. Эти господа – он указал на «своих» немцев – были тогда тоже с нами. Вот и посчитайте теперь, кто же все-таки раньше начал и кому принадлежит приоритет. Приведенный вами аргумент несостоятелен, и никто его принять всерьез не может.

Как рассказывал Сергей Петрович, Гиль все-таки был растерян несколько, иначе бы он догадался спросить у генерала Иванова, а где же сейчас эти батальоны и почему генерал не продолжает ими командовать?

– У меня этот вопрос просился с языка, да я понял, что это

помогло бы Гилю, а я не хочу ему помогать, – сказал Сергей Петрович.

Но Гиль все-таки нашелся. Он сказал, что личный состав в частях, полках и батальонах очень наэлектризован приездом «варягов», настроен против передачи, подвергается массированному воздействию партизанской пропаганды, взвинчен и плохо перенесет такую резкую перемену в своей судьбе, как полную смену командования, которую он не сможет расценить иначе, как выражение недоверия ко всей Бригаде. Командование Бригады очень тесно связано с личным составом, офицерами и солдатами длительной совместной борьбой, «люди горой стоят за нас» – сказал Гиль, и «обиду, нанесенную нам, расценят, как обиду, нанесенную всем им». В существующей в данное время ситуации может возникнуть очень сложная, даже взрывоопасная обстановка, партизаны могут воспользоваться неустойчивым положением Бригады, организовать какую-нибудь провокацию, которая повлечет общий взрыв, а тогда не придется передавать ничего, потому что некого будет передавать, да, возможно, и некому будет принимать. Все мы можем погибнуть.

Тут-то и началась самая перепалка. Жиленков обвинил Гиля в демагогии, искусственном нагнетании напряженной обстановки, в обскурантизме, легко читаемом местничестве и т. д. В ответ послышались соответствующие резкие возражения Гиля и его близких, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не вмешались немцы. Многие из них хорошо понимали по-русски, другим быстро переводил Весслер, и все были в курсе всего дела. Слова Гиля о «взрывоопасной» обстановке очень их насторожили и обеспокоили. Они попросили Гиля повторить, что он сказал по поводу неспокойной обстановки в Бригаде и подтвердить его опасения. Гиль почувствовал, что появился шанс на его стороне и выдал немцам желаемое подтверждение. Те, посовещавшись, решили снестись со своим вышестоящим начальством. Оказывается, у них в одной из машин была рация, и связь была установлена немедленно. Переговоры велись недолго, не более часа, и было принято согласованное решение воздержаться от передачи всей бригады, а передать один батальон, укомплектованный всем офицерским составом, полностью вооруженный и со всем необходимым имуществом. Такое решение явно обрадовало Гиля, он расценил его как свою победу, дал немедленное свое согласие с таким решением и тут же объявил, что командиром батальона, который будет сформирован для передачи, он выделит майора Точилова, а его заместителем – старшего лейтенанта Самутина… Раздосадованные «гости» уехали в Молодечно, а Сергей Петрович, довольный и радостно

возбужденный, вернулся с этого совещания и сказал под конец:

– Вот мы и выберемся из этого осиного гнезда. Пусть они тут что хотят делают, а настоящее освободительное движение будет организовываться не ими, а такими, как эти приехавшие офицеры, только бы немцы не мешали ни в чем. Ну, да немцы не дураки, они сами понимают, как им выгодно иметь широко организованное русское освободительное движение. Сегодня 29 апреля. Нам дано четверо суток на формирование батальона. Третьего мая утром из Глубокого приедут со своими машинами принимать батальон. Еще четыре дня, и мы распрощаемся со всей этой мерзостью.

9

Эти последние дни пролетели для нас в сплошном угаре. Мне понятно было, что Гилем был найден удобный способ избавиться от нас мирно, «не проливая» крови. Но вместе с тем было ясно, насколько мы ему осточертели, что именно нас сразу и с такой готовностью назначил он на «выпихивание» из Бригады.

Нам нужно было сразу приступать к формированию батальона. Тут немедленно начались всякие бесчисленные проволочки, чинимые нам на каждом шагу. Никто не хотел нам помогать, все, по-видимому, имели инструкции нам мешать. Но у нас появилась огромная пробивная сила, и вдвоем с Точиловым мы выбивали и людей, оружие, снаряжение и все необходимое. Только людей нам отдавали «на Тебе, Боже, что нам не гоже» – всяких больных, почти увечных, шалопаев, хулиганов и мародеров, неблагонадежных и слабоумных. Но мы всех брали, не артачились. И офицеров на роты и взводы нам дали второсортных – однако ничего не поделаешь, приходилось соглашаться. Нами овладело нестерпимое желание поскорей уйти из Бригады.

Наконец, к вечеру второго мая все было закончено, батальон был собран вместе в отведенном ему помещении, офицерам было приказано находиться при своих подразделениях, чтобы не допустить никаких срывов дисциплины и порядка, назавтра была назначена эвакуация. Радостное ожидание счастливой перемены переживал я в тот день. Сергей Петрович тоже был возбужден и доволен проделанной нами работой. Мы не подвели себя перед лицом нашего нового начальства, все выполнили к назначенному сроку.

Завтра они приедут и найдут нас полностью готовыми к переходу под начало к ним.

Перед вечером из штаба прибыл посыльный, сказал, что командира маршевого батальона майора Точилова вызывает командир Бригады. Сергея Петровича долго не было. Пришел он уже поздно, часов около десяти, под хмельком и хмурый.

– Что случилось, Сергей Петрович? Зачем вас вызывали? – спросил я.

– Гиль решил устроить прощальную пьянку. Собрались все, вся гоп-компания, все «полковники», «генерал»…

– И Блажевич был?

– Конечно! Как же можно без Блажевича!

– И как все прошло?

– Как все прошло? Я им выдал все, что они заслуживают! Я высказал им все, что о них думаю. О каждом! Пусть помнят!

– А они что?

– Молчали. Богданов только сунулся было что-то отвечать, даже вскочил со стула, начал за пистолет хвататься, да Блажевич его дернул за фалды, усадил на стул и сказал: «Заткнись!»

– Ну, и как все кончилось?

– А как кончилось? Я выговорился, обозвал их всех сволочами и палачами, сказал им, что по ним веревка плачет, и ушел. Вот прямо только что оттуда. Они еще там остались все. Сейчас, небось, беснуются, рады были бы живьем съесть, да уж поздно!

Я был трезв, и мне совершенно понятна была величина той опасности, которая так внезапно нависла над нами от несдержанности Сергея Петровича.

– Да ведь еще не поздно, Сергей Петрович…

– Что не поздно?

– Да съесть-то нас живьем еще не поздно, ночь-то вся еще впереди…

– Ну, на это они не пойдут! Не посмеют!

– Сергей Петрович! Трезвые, может быть, и не пошли бы, да ведь пьяные они все, не так ли?

– Да, все пьяные.

– Ну вот видите. Вот уж когда секира-то над нами нависла, так нависла. Действительно.

– Я вам говорю, они не посмеют! Наши головы перед немцами застрахованы!

– Сергей Петро-ович! Какой нам смысл завтра будет в этой «страховке», когда сегодня ночью нам головы снимут! Нам нельзя оставаться ночевать здесь. Уйдемте отсюда на ночь!

– Если вы трусите, то уходите, куда хотите, а я никуда отсюда не уйду!

Он был пьян. И от вина, и от возбуждения последних дней он потерял способность здраво мыслить и в раздражении не остановился даже, чтобы бросить мне такое оскорбление. Но я не стал на него обижаться, понимая все, и бросить его одного здесь тоже не мог.

– Я хочу спать. Завтра надо рано вставать, – сказал он и ушел в свою комнату.

Я подумал немного, что делать, и решил. Наверху, на чердаке, есть комната. Окном она выходит на улицу. Вход в нее с площадки, которая наверху лестницы. Из комнаты есть еще выход на чердак. Там есть слуховое окно, которое выходит на огород, прямо над грядами. Окно обычное, открывается. В нижней же моей комнате я как в мышеловке. Окна еще с двойными рамами, дверь только одна – в столовую. Никакого отступления нет в случае чего. Пойду-ка я сегодня ночевать наверх. Там есть

застеленная постель. Сказал своему ординарцу:

– Если Сергей Петрович меня спросит, скажи, что я наверху.

И ушел. И лег спать не раздеваясь, даже не сняв ремень с пистолетом и в пилотке. Сначала никак не мог заснуть, завинтился, но потом стал забываться. И вдруг как током меня подбросило. Голоса внизу! И топот сапог! Слышно, кого-то проволокли, бормотание какое-то, выходная дверь хлопнула.

Бросаюсь к окну. Вижу, как уводят от дома человека с заломленными назад руками, разобрать нельзя, темно, но не сомневаюсь, что это увели Сергея Петровича! Кидаюсь на площадку к лестнице, прислушиваюсь.

– Самутин где? В комнате его нет. – Голос одного заплечных дел мастера, блажевичского помощника.

– Нету его дома. – Слышу, это Кулиш, мой ординарец, отвечает.

– А где он? – опять тот же голос спрашивает.

– У бабы ночует.

– А кто его баба?

– Не знаю…

Ай да Кулиш, ай да молодец! Нашелся что сказать, спас жизнь своему начальнику! И не было ни у меня, ни у Сергея Петровича никаких баб, жили мы постниками, а как вот вышло у Кулиша все просто и естественно: «У бабы ночует!» Как не поверить, молодой мужик – конечно, у бабы ночует.

Но мне нельзя ждать, когда они полезут сюда наверх, ведь лестница-то прямо из передней сюда идет, нельзя не заметить. Обязательно придут, слышу, как там внизу по всему дому шарят. Кидаюсь назад, в комнату, оттуда на чердак, к слуховому окну, открываю его, прислушиваюсь, вглядываюсь в темноту. Здесь, сзади дома все спокойно, никого нет. Тяжело прыгаю на мягкую землю. Ноги чуть не вывихиваю в коленях. Внутренности, кажется, все оторвались. Быстро вскакиваю, бегу через огород в дальний конец, перебираюсь на зады домов, там, задами прокрадываюсь к знакомому приятелю, лейтенанту, поднимаю его с постели, рассказываю, что случилось, вдвоем ждем утра, приезда офицеров из Глубокого. Эх, Сергей Петрович, Сергей Петрович! Что же ты наделал? Как не сдержался на этой последней вечеринке у Гиля? Почему меня не послушался вчера вечером? Вот к чему приводит полная безрассудность и неумная фанаберия! А можно ли его осуждать, зная, что сейчас он принимает наверняка мученическую смерть? Да и сам-то я спасся ли еще? А вдруг завтра не приедут эти новые «хозяева»? Меня бросятся искать. Если найдут – а это очень вероятно, – обвинят, что собрался переходить в партизаны, и тут же расстреляют, да

еще и перед строем, чтобы сразу двух зайцев ухватить: в назидание и устрашение тем, кто и на самом деле подумывает переходить, и чтобы свои концы все в воду упрятать еще до приезда тех, глубоковских.

Так сидел я в запертой комнате у приятеля лейтенанта и ждал утра третьего мая 1943 года.

Часов в 11 прибегает мой дружок – отправил я его на разведку.

– Приехали! – говорит. – Спрашивают Точилова и вас, идите к ним. Машины стоят на площади у церкви, а они в доме у батюшки.

Идти недалеко было. По дороге меня не схватили, не знали, видно, толком, что со мной. Я вошел в дом к священнику, подошел к приехавшим, попросил разрешения обратиться к генерал-лейтенанту Иванову, доложил о себе, о полной готовности батальона к передаче и рассказал о случившемся ночью.

Генерал Иванов приказал мне не отходить от их группы ни на шаг. Капитану Ламздорфу и поручику Весслеру приказал:

– Стойте все время по обе стороны старшего лейтенанта. Нельзя дать им украсть его.

Прибыли Гиль, его начальник штаба Орлов и другие. Ни Блажевича, ни Богданова не было.

Родионов доложил о ночном ЧП – партизаны похитили майора Точилова прямо из его дома, его помощник – старший лейтенант Самутин, по слухам, спасся, да вот и он сам.

Иванов ответил ему:

– Какие партизаны похитили майора Точилова, мы, полковник, знаем. А сейчас потрудитесь построить передаваемый батальон, мы прибыли с машинами. Немедленно грузиться, и мы отправляемся.

Гиль был явно расстроен историей с Точиловым, который был на хорошем счету в фербиндунгсштабе, и он определенно страшился немецкого расследования. Было видно, как изменяли ему его обычные решительность и выдержка.

Иванов и его спутники отказались от приглашения отобедать в штабе Бригады, и вскоре вся колонна машин двинулась по направлению к Глубокому.

Прошло еще десять лет, пока мне удалось узнать, что случилось в ту ночь с Сергеем Петровичем. Что он тогда погиб, в этом я не сомневался. Но как?

В одном из этапов, прибывших в Воркуту из сибирских лагерей весной 1953 года, я вдруг увидел лицо, которое показалось мне знакомым, только я не мог сразу догадаться, кто

этот человек. А тот меня тоже узнал, и вижу, старается от меня спрятаться за чужие спины, боится, значит. Эге, думаю, значит, правильно, тут что-то есть. Подхожу к этому типу – тут только узнаю – это же бывший ординарец Блажевича, дружок-приятель Карпенки, ординарца Сергея Петровича! Он всегда отирался у этого Карпенки, то есть у нас в доме. Уж не он ли и переносил Блажевичу все, что мы с Сергеем Петровичем говорили в его адрес? И Карпенко мог ему рассказывать, да и сам он, при желании, мог подслушать. Вот ведь какие встречи бывают. Потащил я этого раба Божья «за ушко, да на солнышко» – рассказывай, дружок, как все тогда, десять лет назад, происходило. Ты не мог не знать.

Он долго упирался, да я погрозил ему, что я здесь – «дома», а он – «чужой», как бы не было худо… Тогда он «раскололся»…

Сергея Петровича приволокли в «Мертвый дом» – так прозвали тогда дом, где помещалась «служба» Блажевича. Богданов и Блажевич долго, до рассвета били Точилова, потом вывели на берег речки Шоши, ему, ординарцу, Блажевич приказал сопровождать их с автоматом. Руки у Точилова были все время связаны, он был весь в крови от побоев и ничего не говорил, может, и не мог уж говорить. Блажевич взял у ординарца его автомат и сказал:

– Получай остальное, Сергей Петрович… – и двумя очередями крест-накрест свалил его. Там его и закопали.

Судьбу всей Бригады и самого Гиля я узнал уже позже. В августе 1943 года Гиль поднял бригаду против немцев, перешел в партизаны, удачно воевал всю осень и зиму против немцев, в мае сорок четвертого в окружении был ранен в печень осколком мины и от этой раны умер через четыре дня. Его вынесли на носилках из окружения и с почетом похоронили в братской могиле, около хутора Накол. Начальника штаба Орлова я встретил потом в Воркуте, оказался с ним рядом на нарах.

Но мне хотелось знать судьбу и других людей, так мне памятных.

– А что стало с Блажевичем?

– Его застрелил полковник Петров, когда мы подняли восстание…

– А с Богдановым?

– Его по требованию Москвы вывезли на самолете, чтобы судить трибуналом. Ведь генералом был… Наверное, расстреляли.

– А с немцами что сделали?

– Перестреляли и повесили всех. До одного.

Вот так и кончила свое существование «Первая Национальная

русская бригада» Гиля-Родионова. Я успел унести из нее ноги еще до полного ее развала…

Глава V

1

Прошло 35 лет с тех солнечных дней начала мая 1943 года, а все кажется, что как будто это было вчера. Особенно отчетливо вспоминается то ощущение легкости, которое наступило после освобождения от гнетущей атмосферы последних недель пребывания в бригаде Гиля-Родионова. Кончилось это состояние тупика, казавшееся безысходным и рисовавшим впереди только самые мрачные перспективы. Как сон вспоминались те дни, когда утро начиналось противной мыслью – чем заполнить день? Что делать? Чем заняться? Идти в подразделения, к солдатам – так не хотелось. Что им говорить? Куда и зачем звать? Бессмыслица и ложь тех официальных слов, которые нам предписывалось говорить о борьбе Великогермании и ее фюрера с жидо-большевизмом на Востоке и мировой плутократией на Западе, была понятна нашим солдатам ничуть не хуже, чем и нам с Точиловым.

Новые и свежие слова, именно в силу своей новизны и свежести доходившие до людей из призывов Власова, нам запрещено было произносить. Ощущение тупиковой обстановки обостренно усиливалось с каждым днем.

Наконец этот тупик развалился – трагически окончившись для Сергея Петровича, счастливо – для меня.

В Глубоком, где временно расположился наш маршевый батальон, вывезенный от Гиля группой прибывших «власовских» офицеров, я оказался совсем в другой, совершенно новой обстановке, окруженный интересными людьми, каждый из которых был яркой и своеобразной личностью.

Взбудораженность чувств и нервов после пережитой бучи, новизна всего окружающего мешали мне правильно видеть и трезво оценивать новую обстановку и новых людей. Лишь годы спустя пришло верное понимание того, что происходило тогда вокруг меня и с самим мной…

Оказалось, что в Глубоком оставался еще один офицер, не участвовавший в поездке остальных в расположение частей Гиля – в Лужки. Немедленно по нашем прибытии в Глубокое он присоединился к нашей группе, радостно приветствуя Сахарова, Кромиади и генералов. Мне бросилось в глаза отсутствие субординации между этими людьми во время личных контактов. Между собой они все были на равной ноге, обращались друг к другу по имени, например, Сахаров с Ламздорфом, Сахаров с Жиленковым.

К новому для меня лицу, симпатичному, совсем еще не

старому капитану с рыжеватой бородкой и усами, удивительно похожему лицом на последнего нашего царя, Николая II, мои новые покровители и спасители обращались неожиданно – странно называя его «отец Гермоген». Сначала я принял это за шутку, за смешное прозвище в кругу друзей, связанное с его внешностью. Но оказалось не так. Этот капитан действительно был священником. Он был взят Сахаровым на должность пресвитера той воинской части, которую собирался формировать. Его полное имя было Гермоген Кивачук, он был монахом в довольно высоком сане – архимандрит и принадлежал к карловарской ветви зарубежной православной церкви, т. е. к той отколовшейся части православия, которая объявила о непризнании ею Московской Патриархии.

Происходя из Ровно, из западных украинцев, этот священник с капитанскими погонами на плечах и трехцветной бело-сине-красной кокардой на фуражке, тем не менее по своим убеждениям, взглядам и образованию был совершенно русским, националистически, т. е. антисоветски настроенным человеком. Гермоген было его монашеское имя, принятое им во время пострига, мирское имя его я не запомнил. Он был единственным по-европейски широко образованным человеком в этой компании. Он окончил богословский факультет Варшавского университета, и как лучший выпускник этого факультета был отправлен еще на два года учиться на теологический факультет Кембриджского университета в Англию. Кроме русского, украинского и польского языков, каждый из которых был ему, по сути, родным, он совершенно свободно владел немецким и английским языками, и вполне прилично – французским. Образованность его в гуманитарных областях – литературе, истории и, конечно, теологии – была блестящей.

Отец Гермоген сразу пригласил меня жить с ним. Очевидно, я представлял для него интерес как тип антисоветски настроенного советско-русского интеллигента, и ему хотелось меня поближе рассмотреть.

У меня не было выбора и не было оснований отказываться от такого предложения, и я поселился вместе с отцом Гермогеном в одной из комнаток половины дома, которую он занимал.

Его отношение ко мне вначале было несколько покровительственно-небрежное, как бы «свысока», но потом выровнялось, он сделался прост и естественен. Это пришло уже позже.

По сути своей мой новый близкий знакомый был тоже авантюристом, под стать Сахарову и Ламздорфу. То, что он не только носил полную форму армейского офицера – капитана, но

еще и носил оружие – пистолет «Вальтер», конечно, было авантюризмом чистейшей воды. Ношение оружия духовным лицом вовсе не разрешено церковными канонами.

Лишь потом догадался я, что приглашение меня отцом Гермогеном жить вместе с ним вовсе не было продиктовано одним лишь его собственным любопытством к новому лицу или движением его доброго сердца, но также и указанием Сахарова своему доверенному человеку повнимательней изучить меня, рассмотреть, что я за личность и в какой степени можно доверять мне… Сахаров одинаково опасался как советских, так и немецких агентов.

Совместное проживание с отцом Гермогеном под одной крышей обогатило меня множеством совершенно новых информаций и как бы раскрыло для меня новые горизонты.

2

Из отдельных слов, замечаний, сделанных якобы вскользь, а иногда и из целых связных рассказов отца Гермогена я узнал, что, прежде всего, мы – бригада Гиля – вовсе не были пионерами и зачинателями антисоветского военного движения и все амбиции в этом смысле гилевского окружения совершенно необоснованны. Оказалось, что еще за два месяца до нашего выступления из сувалковского лагеря на центральном участке фронта командованием группы армии «Центр» было закончено создание крупного, в несколько тысяч человек, русского воинского соединения под названием «Русская национальная народная армия», которая должна была послужить ядром для формирования в дальнейшем объединенных антисоветских сил для участия в боях против Красной Армии. Эта акция задумана была в недрах немецкого командования центральным участком фронта еще осенью 1941 года и проводилась по прямому указанию тогдашнего командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Бока и с «благословения» тогдашнего же верховного главнокомандующего Браухича. По естественной инерции всяких действий они продолжались и после их смещения в декабре 1941 года, и только спустя почти год новый командующий группой армий «Центр» фон Клюге запретил дальнейшее формирование частей и приказал распылить все соединения на отдельные батальоны, распределив их по немецким полкам.

Однако самыми интересными для меня сведениями оказались те, которые относились к различным подробностям и деталям этого дела.

Для отбора добровольцев по лагерям советских военнопленных, для агитации и вербовки офицерского и рядового состава в эти антисоветские формирования немцами были привлечены эмигранты. Из эмигрантов же было сформировано и командование вновь создаваемых частей. Так в этой группе оказались Иванов, Сахаров, Кромиади и Ламздорф.

Узнал я и любопытные подробности об этих лицах.

Генерал-лейтенант Николай Никитич Иванов вовсе не был генералом. Вместе со своим старшим братом С.Н. Ивановым, в качестве его заместителя по политической части, он прибыл в Смоленск в начале 1942 года и принял участие в формировании первых русских частей, местом дислокации которых был избран поселок Осинторф между Витебском и Оршей. Старший из братьев Ивановых получил от немцев чин «зондерфюрера»,

который давался немцами гражданским чиновникам, привлекавшимся на военную службу. Оба Иванова имели немецкое гражданство и вполне официально обязаны были проводить немецкую политическую линию в своих действиях. Между прочим, впоследствии этот немецкий чин «зондерфюрер», переведенный буквально как «особый руководитель», ввел в заблуждение белорусский штаб партизанского движения, который приписал С.Н. Иванову главную роль в организации РННА. Скорее всего братьям Ивановым как немецким подданным русского происхождения была вменена и доверена немцами роль наблюдателей и «контролеров» за действиями бесподданных русских Сахарова, Кромиади и Ламздорфа.

Оба Ивановы были царскими офицерами. С.Н. Иванов был ближайшим соратником белогвардейского генерала Миллера, возглавлявшего действия белых на севере в годы Гражданской войны. Его брат, Н.Н. Иванов, который предстал теперь перед нами в качестве «власовского посланца» в чине генерал-лейтенанта, был в РННА на положении «политического воспитателя». Он тоже был царским офицером, эмигрировал в Германию, там натурализовался, т. е. принял германское подданство, занимался журналистикой, сотрудничая в изданиях, отличавшихся наибольшими степенями антисоветизма.

Однако командиром вновь созданной части был назначен К.Г. Кромиади, натурализованный русский грек, крайне монархических убеждений человек, ко времени пребывания в Добровольческой Армии Деникина дослужившийся до ротмистра, здесь же вдруг оказавшийся в звании полковника, да еще и не под своей фамилией. Он действовал под псевдонимом Санин. Его заместителем по командованию был И.К. Сахаров – сын известного колчаковского генерала К.В. Сахарова, того самого, которого другой колчаковский генерал Будберг называл «бетонноголовым»…

Из рассказов отца Гермогена явствовало, что молодой сын «бетонноголового» колчаковского генерала К.В. Сахарова был удачливым и смелым авантюристом, и при том – чистой воды. Получив в Германии, Берлине, где жил в эмиграции его отец, только общее среднее образование, не имея специальности, но не растеряв былые дворянские амбиции и замашки, И. Сахаров вынужден был окунаться в одну авантюру за другой. Совсем в молодых годах, двадцати с малым лет, он очертя голову ринулся в пекло испанской гражданской войны, конечно, на стороне Франко. Он вступил в русский батальон одной из интернациональных бригад, сражавшихся в составе войск Франко. Как известно, интернациональные бригады были у обеих

враждовавших сторон. Там он сражался храбро, был командиром сначала танка, потом дошел до командира роты и даже, кажется, танкового батальона. Был несколько раз ранен, получил из рук самого Франко несколько высоких наград. Старый генерал К. Сахаров отправляя сына на борьбу с мировым большевизмом, благословил его той же иконой, которой благословляли в 1904 году и самого К.В. Сахарова перед отправлением на японскую войну.

После окончания гражданской войны в Испании молодой Сахаров вернулся героем и некоторое время пожинал лавры своего первого жизненного успеха. Тут подошла новая война, на этот раз Германии с Россией, и для него внезапно открылись необъятные горизонты деятельности.

В феврале 1942 года умер старый генерал К. Сахаров. Помню, сидя в плену, я сам прочитал траурное объявление и некролог, помещенные в берлинском «официозе» на русском языке «Новое слово». Теперь, из рассказов отца Гермогена пришлось узнать любопытную подробность.

Умирая, старый генерал благословил сына на продолжение непримиримой борьбы с большевизмом и якобы сказал ему, что он, генерал Сахаров, награждает своего сына, продолжателя великой освободительной борьбы против большевиков, героя испанской войны, всеми своими орденами, которыми он сам был в свое время награжден на службе в царской и колчаковской армиях, и производит его в чин полковника.

Этот удивительный случай «награждения» молодого эмигранта орденами императорских времен стал известен благодаря тому, что на Пасхальное богослужение весной сорок второго года в берлинский православный собор, прихожанами которого была семья Сахаровых, Игорь Сахаров явился в полной парадной форме русского армейского полковника – со всеми отцовскими и своими тоже орденами на груди.

Давясь от смеха при этом рассказе, отец Гермоген говорил о том «шокинге», который был вызван этой фанфаронской выходкой Сахарова в берлинском эмигрантском обществе. Телица, которые совсем недавно восхищались им по поводу его испанских побед, теперь показывали на него пальцами и негодующе отворачивались. В авантюристической карьере это был ошибочный шаг Игоря Сахарова.

Но ему было наплевать на шипение разных эмигрантских «нафталинных обломков». Он уже был снова «на белом коне», участвуя в создании РННА вместе с полковником Кромиади.

Капитан Григорий Павлович Ламздорф, граф, внук бывшего министра иностранных дел в начале царствования Николая II,

тоже авантюристическая личность, но рангом пониже Сахарова. Высокого роста, хорошо сложенный, хотя немножко сутулый, совершенно не владеющий строевой выправкой, что особенно хорошо было видно, когда ему приходилось командовать строем. Внешне очень похожий на грузина, что не было удивительно, так как бабкой его была грузинская княжна, ставшая потом, выйдя замуж за его деда, графиней Ламздорф.

В то время, как Сахаров оставался холостяком, Ламздорф был женат. Его жена с трехлетним сыном жила в Париже, их брак по некоторым причинам был в состоянии полного расстройства. Молодая графиня Ламздорф, по рассказам отца Гермогена, была какой-то совсем необыкновенной красавицей, вовсе не желавшей, чтобы такой редкий дар небес пропадал даром.

Ламздорф тоже служил в интернациональной бригаде у Франко, они воевали с Сахаровым в одном батальоне, и потом Ламздорф был под командой Сахарова. Между собой они были на «ты» и в очень коротких отношениях.

Еще называл мне отец Гермоген какого-то Соболевского, бывшего крупного помещика и царского офицера, и еще одного графа – фон Палена (фамилии-то все исторические!), но их роль в создании РННА не была значительной.

Но самым-то главным в рассказах отца Гермогена были не эти сведения о личностях, уже очень отдававшие просто сплетнями, а то, как провалилась сама идея создания этой РННА. Сам отец Гермоген, видимо, многого не знал, многого не понимал, но главное-то он усвоил: это первое – действительно первое – русское военное формирование на немецкой стороне явилось сразу же объектом пристального внимания антинемецкого, советского подполья, партизан и специально засланной агентуры. В первые же месяцы существования РННА выявилась та же закономерность, которую я своими глазами наблюдал и в бригаде Гиля – расслоение личного состава таких частей на три, очень неравные численно категории.

Количество, так сказать, «идейных», убежденных и бескомпромиссных противников большевизма и советской власти всегда было, по-видимому, невелико, в лучшем случае, десяток-другой на батальон. Такие люди готовы были идти в союзе не только с Гитлером, хоть с чертом, но лишь бы против большевиков и особенно – против Сталина. Среди них были и такие, которым неважно было и за «что», лишь бы «против»…

Значительно более многочисленную группу составляли люди, поступившие на службу к немцам, желая получить возможность при первом удобном случае перебежать к своим, да еще с оружием в руках, да еще, при удаче, и не в одиночку, да и

сотворив перед побегом что-нибудь для приобретения политического багажа. Эта группа была бы значительно многочисленней, если бы не слухи, родившиеся в первое время существования партизанщины, о том, что партизаны беспощадно и без разбора расправляются с перебежчиками, прошедшими службу в немецких частях, как с изменниками.

Но самую многочисленную и основную массу наших добровольцев составляли люди, которые просто спасали жизнь, ибо в лагерях военнопленных они были поставлены перед простым выбором – либо смерть от голода, либо запись в добровольцы. Большинство из этой категории добровольцев имело целью просто «пересидеть» войну, тем более что непосредственно на фронт, на передовые линии, русские добровольческие части в то время еще не выдвигались, а использовались для охранной службы в тылу. Эта третья категория добровольцев служила неисчерпаемым резервуаром для пополнения второй группы. Если кому-нибудь из той, второй категории добровольцев удавалось привлечь к участию в своем заговоре одного или несколько человек из «безразличных» и при этом уничтожить или силой захватить с собой при переходе кого-то из первой группы, т. е. активистов и непримиримых, то успех такого перехода в партизаны был обеспечен.

Именно по такой схеме строились многие переходы в бригаде Гиля, и вот, по рассказам отца Гермогена, я увидел, что то же самое, только в несравненно большем масштабе, происходило и в РННА.

Вся организация дела была построена немцами таким образом. Для начала было отобрано 200 человек пленных и помещено в особом лагере в местечке Вульхайде недалеко от Берлина. Они содержались как пленные, но в несколько лучших условиях, чем обычные пленные. Улучшение состояло в том, что их не доводили до голодной смерти, но из состояния хронического голода их так и не выпускали. Эти 200 человек в короткий срок были подготовлены в качестве агитаторов и вербовщиков и разосланы по лагерям военнопленных. Их задача была вначале выявлять среди пленных «обиженных» на советскую власть и именно таких привлекать на службу к немцам. Однако вскоре стало ясно, что такой принцип отбора не обеспечит требуемой численности, и вербовка началась среди всех, невзирая на политические настроения. Вербовщики, прошедшие краткосрочные курсы в лагере Вульхайде, затем в большинстве поступали в формируемые батальоны в качестве офицеров на взводы, иногда – на роты. Сам же лагерь Вульхайде продолжал существовать, пропуская через себя новые и новые партии

вербовщиков.

Когда РННА была сформирована и размещена несколькими гарнизонами в Осинторфе и его окрестностях, под эмигрантским командованием началась политическая обработка личного состава его новым командованием.

Отец Гермоген привел мне два образчика пропаганды, достаточно ярко рисующие основную идеологическую линию воспитания личного состава русских войск на немецкой стороне, как понимали эту линию офицеры-белоэмигранты. Зондерфюрер С.Н. Иванов разъяснял: «Москву будут брать не немцы и не японцы, а мы, русские. Сами же будем наводить там порядок. Поэтому после завершения формирования наша армия должна занять один из участков фронта для борьбы против советских войск».

У меня не было в то время оснований сомневаться, нет их и сейчас, в искренности веры наивного зондер-фюрера Иванова в то, что немцы «разрешат» русским «самим взять» Москву и «навести там порядок». Людоедский приказ Гитлера о полном физическом уничтожении Москвы после ее взятия уже существовал в то время, но не был широко известен даже в кругах немецкого офицерства, не только русского. Это сейчас, через 35 лет, мы видим, какое идиотски-издевательское звучание имели призывы, подобные только что рассказанному в свете тех знаний, которыми мы располагаем о действительных истинно сатанинских планах Гитлера. Еще более определенно высказывался командир части полковник К.Г. Кромиади-Санин. В кругу подвыпивших господ офицеров, где были и эмигранты, и новообращенные бывшие командиры Красной Армии, он сказал: «Нам необходимо создать двухмиллионную армию и полностью вооружить ее. Немцы после войны ослабеют, тогда мы и ударим по ним. Возьмем власть в свои руки, восстановим в России монархию».

Но и противная, т. е. советская сторона, не дремала. Началось противоборство двух идеологий. Подпольщики и связанные с ними партизаны развернули громадную работу по разложению частей РННА. Отец Гермоген сказал, что эта работа, вероятнее всего, направлялась и координировалась из какого-то центра за фронтом. Не могло быть, чтобы только спонтанные действия местных одиночек могли так быстро привести к фактическому провалу всей затеи. РННА была разделена на гарнизоны «Москва», «Урал», «Байкал», расположенные в Осинторфе и поблизости от него. В состав этих гарнизонов, кроме пехотных, хозяйственных и других подразделений, входили также броневой и артиллерийский дивизионы.

Очень большую роль в разложении рядов РННА сыграл Е.В. Вильсовский, бывший учитель, служивший переводчиком у немцев и тесно «друживший» с офицерами РННА. Как оказалось впоследствии, он был связан с партизанами, подпольными советскими кругами и был организатором такого подполья в самом Осинторфе. По прямому указанию командира одной из крупнейших и активнейших партизанских бригад того района, Константина Заслонова, державшего непрерывную связь с Вильсовским, был организован подпольщиками первый значительный переход целого подразделения РННА в партизаны. Вся хозяйственная рота, несколько десятков человек, под командой старшего лейтенанта Базыкина (в действительности Якова Гавриловича Лебедева), перешла в партизаны. Это было в начале лета сорок второго года. 6 августа перешел целиком взвод, 11 августа – рота старшего лейтенанта Максютина, еще через несколько дней разведрота лейтенанта Князева.

Подробности деятельности подпольщиков стали ясны после того, как один из тех, кто был захвачен с собой ротой Базыкина из лиц, принадлежавших по «нашей» классификации к первой группе, т. е. группе «отъявленных», бежал из-под партизанского конвоя и вернулся обратно в Осинторф. Он и выдал многих, собиравшихся тоже переходить к партизанам, так как пока находился среди перешедших базыкинцев, многое узнал и услышал. Происшедший провал только ускорил течение событий. Не дожидаясь, пока всполошившиеся немцы похватают всех, не разбирая «правого и виноватого», ближайшей же ночью весь артдивизион, 115 человек с техникой и боеприпасами, заминировав и взорвав склады с вооружением, ушел в партизаны. Это было завершающим аккордом, закончившим короткую «эпопею» РННА. Немедленно последовали грозные приказы: отозвать несправившееся эмигрантское командование и впредь эмигрантов к работе с русскими частями не допускать; расформировать РННА на отдельные батальоны и передать их немецким полкам и дивизиям; привлечь для дальнейшего формирования русских частей и руководства ими в качестве русских офицеров бывших командиров Красной Армии, заявивших о своей готовности сотрудничать с немцами.

Противоборство двух идеологий – «белой» и «красной» – опять, теперь уж на моих глазах, явно закончилось поражением первой из них. Тогда я во всем видел вину немцев с их полной политической близорукостью, оголтелым и грабительским национализмом, со всей отвратительной системой нацизма.

Но меня интересовали и дальнейшие подробности, относившиеся к этой РННА. Я попросил отца Гермогена

рассказать мне продолжение. Оказалось, что в штабе группы армий «Центр» оставались еще офицеры, разделявшие взгляды их бывшего начальника фельдмаршала фон Бока и противодействовавшие некоторым установкам нового командующего фельдмаршала фон Клюге.

Когда фон Клюге, разъяренный провалом идеи создания РННА, приказал прекратить формирование русских соединений больше батальона, двое офицеров его штаба – генерал-майор фон Треско, начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр» и майор Герсдорф, начальник разведывательного отдела этого штаба – решили летом 1942 года создать так называемое «пробное соединение» – русскую бригаду и передать командование этим «пробным соединением» генерал-лейтенанту Георгию Константиновичу Жиленкову и полковнику Владимиру Ильичу Боярскому. Основой для формирования этой бригады и должны были послужить части РННА.

Но и из этой идеи ничего не вышло. Когда стало известно, что вступает в силу приказ Клюге о расформировании бригады на отдельные батальоны, включаемые в состав немецких полков, Жиленков и Боярский, ссылаясь на соглашение, достигнутое ими на переговорах с фон Треско и Герсдорфом, отказались от дальнейшего участия в этом деле и заявили, что никогда не давали согласия быть немецкими наемниками, а только союзниками. Фон Клюге объявил их бунтовщиками и приказал отдать обоих под суд, но их покровители Треско и Герсдорф сумели упрятать Жиленкова и Боярского сперва в лагерь военнопленных, потом, как военнопленных же, перевести в другой лагерь, находившийся уже в подчинении других инстанций, не штаба группы армий «Центр», и таким образом спасти обоих.

Меня очень удивила эта история, даже показалась маловероятной, потому что у нас, в нашей системе, подобного бы осуществить никому не удалось. Но отец Гермоген заверил меня, что у немцев это легко проходило, так как у них нет такой абсолютной централизации, как в советской государственной системе, различные ведомства и министерства внутри своих сфер могут допускать и отдельные «вольности», и соперничать и враждовать друг с другом, и даже вставлять друг другу «палки в колеса». И все это уживается одновременно с врожденной и даже гипертрофированной приверженностью к дисциплинированности, послушанию и порядку. Позднее, потеревшись побольше на немецкой стороне, я много раз убеждался в правоте того замечания отца Гермогена.

Когда, немного более года спустя, в конце лета 44-го, во

время разгула террора, объявленного Гитлером после неудавшегося покушения на него, я прочитал в списках казненных имена Треско и Герсдорфа, мне понятен стал их поступок в отношении Жиленкова и Боярского – значит, те два немца в штабе фон Клюге были давними и затаенными оппозиционерами и смелыми людьми. Судьба распорядилась жизнями всех четверых одинаково: каждой паре суждено было погибнуть от рук своих же – немцам летом сорок четвертого, русским – двумя годами позже…

3

И вот снова Жиленков на свободе и вместе с Кромиади, Сахаровым и другими эмигрантами опять формирует русскую часть. Теперь уж под прикрытием власовских идей объединения всех русских для борьбы с большевизмом. Как это оказалось возможно? Опять я приступил с расспросами к моему «просветителю» – отцу Гермогену. Он уверил меня, что то, что нам, людям с советским опытом, кажется невозможным, у немцев оказывается возможным, и вовсе не потому, что немцы «лучше» русских, а просто потому, что они «другие». Что-то иное, что легко осуществимо у русских, совсем недостижимо у немцев.

Мне было очень интересно слышать такие взгляды, я жадно впитывал в себя эти новые для меня истины.

Но еще более интересно было услышать рассказ о биографии самого Жиленкова. Выходившая в то время немецкая газета на русском языке для нас, надевших немецкие шинели, под названием «Доброволец» подписывалась «Ответственный редактор – генерал-лейтенант Г.Н. Жиленков». Материалами этой газеты мне часто приходилось пользоваться в пропагандистской работе в бригаде Гиля, мне очень импонировал тон этих материалов – не холуйский, освобожденный от подобострастия к немцам. Газета прибегала к упоминаниям о немцах только в случаях сообщения официальных материалов: сводок Верховного главнокомандования или в переводах с германских официозов. В остальном о русских делах писалось с чисто русских позиций и точек зрения, и это импонировало читателям, и к материалам «Добровольца» большей частью относились с доверием.

Теперь вот судьба неожиданно свела меня и с самим «генерал-лейтенантом» Жиленковым. Что он за человек?

На вид ему было лет 40, совсем немного повыше среднего роста, коренастый, плотный, широкоплечий и круглолицый шатен, с волевыми манерами старого кадрового военного, привыкшего повелевать.

К своему удивлению, узнаю, что он гораздо моложе, чем выглядит – с небольшим 30. Родился в 1912 году или 1911 году. Никакой не кадровый военный, а партийный работник из кадровых молодых партийцев, делавших быструю карьеру в предвоенные годы, когда Сталин опустошил ряды своей партии и заменял старые кадры новыми, молодыми, такими, как Жиленков.

Был Жиленков из беспризорных времен Гражданской войны, и благодаря своему характеру и способностям, в благоприятных

условиях, предоставлявшихся молодой советской властью этой категории обездоленных детей – беспризорникам, выбился в «люди», стал активным комсомольцем, поступил в МВТУ им. Баумана, был там секретарем комсомола, рано вступил в партию, по окончании вуза занялся не инженерной, а партийной работой и быстро подвигался по партийно-иерархической лестнице. К началу войны он был уже секретарем одного из Московских райкомов.

Война выдвинула его вперед сразу на несколько ступенек. Он стал начальником политотдела одной из армий, в первые же недели войны очутился в огне первых сражений, заменил на какое-то время погибшего командарма, оказался в одном из громадных котлов осени сорок первого года, в окружении попал в плен и, не желая быть узнанным немцами, переоделся в красноармейскую бойцовскую форму и растворился в массе пленных.

Дальнейшая его история была похожа на детектив. На первичном сборном пункте военнопленных немцы отобрали несколько десятков человек для вспомогательных работ. Жиленков, умеющий водить машину, попал в эту группу. Их стали использовать на вспомогательных работах по подвозке различных военных материалов. Так длилось некоторое время. Но однажды одна из групп этой бригады, воспользовавшись ротозейством конвойных немцев, совершила побег, забрав с собой и оружие. Разъяренные немцы немедленно поволокли на расстрел всех оставшихся членов бригады, в том числе и Жиленкова. Когда, как говорится, запахло жареным, Жиленков решил выложить свой козырь – он объявил, что он не простой солдат, а крупный военный чин и имеет что сказать немецкому командованию. Он отказался при этом говорить дальше с местным начальством и потребовал быть доставленным к вышестоящему начальству. Немцы приостановили экзекуцию и запросили иструкции у своих шефов. Те потребовали к себе Жиленкова, заодно решилась участь и остальных – расстрел отменили, и всех отправили в ближайший лагерь военнопленных, Жиленкова же после ряда допросов по всеподнимающимся инстанциям постепенно перевели в лагерь военнопленных близ Летцена, в Восточной Пруссии, где находилась и ставка главного командования Восточного фронта.

В этом лагере содержались высокопоставленные советские командиры – генералы и полковники.

Когда летом 1942 года, т. е. год назад, офицеры штаба группы армий «Центр» решили создать «пробное соединение» – русскую бригаду из остатков распавшейся РННА, они и привлекли

Жиленкова и Боярского для командования этим соединением. Когда из этой их затеи ничего не вышло после вмешательства командующего фон Клюге, запретившего формирование бригады и распылившего ее на отдельные батальоны, с Жиленковым произошли приключения, уже рассказанные выше. В результате он был снова возвращен в «привилегированный» лагерь пленных в Летцене, откуда и был потом привлечен в «штаб Власова» в Берлине, на Викториаштрассе 10, который к тому времени уже возник благодаря организаторским усилиям главного вдохновителя и толкача всей «акции Власова» – немецкого капитана Вильфрида Штрик-Штрикфельда, прибалтийского немца, родившегося, выросшего и выучившегося в России.

Таковы оказались «портреты» главных лиц этой власовской группы, спасшей меня от неминуемой гибели в бригаде Гиля. Многое мне еще оставалось непонятно. Я встретился с совершенно неизвестными мне ранее типами человеческих характеров, но два обстоятельства были для меня очевидны: во-первых, эти люди – последовательные, убежденные антисталинцы и антисоветчики, а не конъюнктурщики, которые собрались вокруг Гиля, и во-вторых, что им я обязан спасением жизни. Первое объединяло меня с ними идеологически, второе – вызывало чувство благодарности и обязывало к преданности… Таковы были основные впечатления от первых дней общения с этими новыми людьми.

4

Через непродолжительное время нас перевели под Псков. Там, в десятке километров от города, около деревни Стремутка в двухэтажном здании бывшей средней школы посреди поля Сахаров разместил свой батальон, объявив при первом общем построении, что мы будем отныне называться «Первая гвардейская бригада РОФ». Командиром бригады является генерал-лейтенант Иванов, и что в ближайшее время начнут поступать другие маршевые батальоны, а наш батальон послужит костяком для формирования бригады.

Стоя на правом фланге общего строя и слушая Сахарова, я думал, что такие же слова я уже слышал и при такой же обстановке в бригаде Гиля. Припоминая рассказы отца Гермогена о формировании РННА, не сомневался, что и там произносились эти же самые обещания о развертывании будущих больших соединений… Но где эти «соединения»? Может быть, наконец сейчас эти слова не останутся пустыми обещаниями? Сахаров говорил убежденно, со стороны казалось, что он ни в какой степени не сомневается в том, что все, о чем он говорит как о будущем, несомненно, очень скоро осуществится. Присутствие здесь же второго генерал-лейтенанта Жиленкова и еще одного полковника Кромиади говорило будто бы в пользу этих обещаний.

Вскоре и действительно прибыло пополнение в виде двух маршевых рот, из которых одна была офицерская, в том числе и несколько полковников, среди них – старый седовласый полковник Бородин. Дело шло как будто и в самом деле к формированию бригады.

В километре от школы, где мы были размещены, находилась древняя-древняя церквушка, Саввина пустошь, еще псковско-новгородских времен строительства, не позже XIV века, со звонницей, какие строились в церквах только в древнем Новгороде и Пскове. Наполовину вросшая в землю, с низкими сводами и узкими зарешеченными окнами, она при немцах была вновь открыта для богослужений и собирала большие толпы верующих из окрестных деревень. По воскресеньям отец Гермоген отправлял в этой церквушке службы по согласованию с местным священником и произносил пламенные проповеди не только религиозного, но и русского патриотического, националистического содержания. Эти проповеди, в которых отец Гермоген призывал всю паству молиться за спасение России и православия, за благо для русского народа и мир для русской

земли, никогда не упоминая о немцах как «спасителях» и «добродетелях», не могли, конечно, пройти незамеченными для немцев, тем более что резонанс у слушающих эти проповеди вызывали очень большой. Я сам видел множество людей в церкви, плачущих во время этих проповедей и горячо молящихся вместе с отцом Гермогеном.

Результатом такой «деятельности» отца Гермогена было то, что уже в июле он был отправлен назад, в Германию, за националистическую пропаганду во время проповедей и за «монархическую внешность», как выразился один немец. Удивительное внешнее сходство лица отца Гермогена с Николаем II, благодаря одинаковой форме бороды и усов, сыграло здесь роковую для отца Гермогена роль.

Еще раз в своей жизни я встретился потом с отцом Гермогеном осенью 1943 года в Берлине, в одном из православных соборов, в котором служил тогда и небезызвестный сейчас «отец Иоанн Сан-Францисский», еженедельно выступающий с проповедями и беседами по «Голосу Америки». Потом Сахаров мне говорил, что отец Гермоген получил самостоятельный приход в русской церкви в Мариенбаде (Марианске-Лазне в Чехословакии), и дальше след отца Гермогена потерялся для меня. Погиб ли он во время катаклизма сорок пятого года или просто умер за эти десятилетия своей смертью – не знаю. Только думаю, что, если бы он остался жив на «той» стороне, как-нибудь слышно было бы о нем по одному из тех бесчисленных «голосов», которые мы ежедневно слышим доносящимися «оттуда», с Запада…

Сахаров назначил меня начальником отдела пропаганды бригады. Он сказал, что ни в каких военных операциях местного значения бригада во время формирования участвовать не будет. Поэтому все это спокойное время надо максимально использовать для воспитания личного состава в русском, националистическом, антисоветском духе, совершенно исключить пронемецкие элементы из пропагандистской работы, признавая лишь верховное водительство немцев де-факто как временное, исторически вынужденное состояние. Много мне объяснять не надо было, мы понимали друг друга с полуслова, между нами быстро устанавливались и хорошие личные отношения, и у меня росло чувство внутреннего удовлетворения, я ощущал себя «нужным человеком на нужном месте». Я быстро организовал лекции и беседы по подразделениям политического, т. е. антисоветского, содержания, исторические и военно-обзорные занятия. Совсем не было необходимости проводить все занятия самому. В моем распоряжении было множество прекрасно

подготовленных людей, образованных бывших командиров Красной Армии, теперь «господ офицеров», которые, не будучи заняты и обременены никакими обязанностями, с удовольствием выполняли мои поручения провести занятия на ту или иную тему. Несколько таких занятий с офицерами провел сам Жиленков, с интересным рассказом об испанской гражданской войне выступал Сахаров, Кромиади рассказывал о Добровольческой армии Деникина, я делал доклады о крупных антисоветских выступлениях Антонова, восстании в Кронштадте и других акциях, материалы о которых мне удалось разыскать в архивах библиотеки Пединститута во Пскове.

Вообще близость Пскова очень облегчила мне мою собственную работу. Прежде всего, мне не стоило большого труда организовать и создать прекрасную библиотеку для нашей части. Я получил разрешение от бургомистра Пскова Черепенькина, бывшего преподавателя математики средней школы, подобрать книги из архива библиотеки бывшего пединститута. Там хранителем этого архива оставался тот же работник, который был и до войны. Прихваченный мною предусмотрительно богатый по тому времени продовольственный подарок, включавший бутылку немецкого «Шнапса», помог мне установить с этим человеком хорошие отношения, и я получил, при наличии формального разрешения бургомистра, полную возможность подбирать книги не только для бригадной библиотеки, но и для себя лично. Болезненный книголюб, я не мог удержаться от искушения и подобрал для себя сотни две-три книг, мне особенно интересных, потом, несколькими месяцами позже, ящики с этими книгами поехали в Париж, а меня судьба забросила на другой конец Европы.

Еще несколькими годами позже та же причудливая судьба еще раз свела меня с бургомистром Черепенькиным – на каторжанском лагере Аят-Ягинских шахт в Воркуте. Там Черепенькин был каторжником первого воркутинского алфавита и имел 20 лет каторги, меня пригнали на этот лагерь этапом из обычного лагеря для заключенных в виде штрафа за нелегальную встречу с матерью после отказа завербоваться Стукачелло. Черепенькин был уже совсем старым, его не заставляли тяжело работать, он ковырял что-то то ли при сапожной, то ли при портновской мастерской в лагере. С некоторыми трудом, но все-таки вспомнил он мое посещение летом 1943 года во Пскове. От него я узнал, что в начале сорок четвертого года, при отступлении немцев из Пскова, вся библиотека Пединститута сгорела, подожженная то ли немцами, то ли советскими бомбами, когда горел весь город. «Вам надо было тогда больше книг оттуда

взять, – сказал Черепенькин, – больше книг уцелело бы».

Мне удалось проследить судьбу этого человека до конца. В эпоху ликвидации сталинского лагерного наследства в 1955–1956 годах Черепенькин был освобожден, не досидев до конца своего срока, и вернулся в свой родной Псков уже глубоким стариком. Ему и его старушке-жене, терпеливо дожидавшейся возвращения своего мужа, была дана пенсия за десятилетия его довоенной работы в школе, он получил небольшой участок земли за городом для садоводства и тихо и мирно дожил остаток своих дней, не подвергаясь ни гонениям, ни дискриминации как со стороны властей, так и со стороны населения. Очевидно, служа при немцах бургомистром, он умело лавировал, не вызывая раздражения и озлобленности ни у какой из сторон – ни у немецкой, ни у советской.

Сравнительно легко мне было организовывать и зрелищные мероприятия. В Псков часто приезжали различные артистические труппы с концертами и спектаклями. Большинство этих гастрольных групп мне удавалось заполучить в нашу бригаду. Так, у нас пел Печковский, оставшийся в оккупированной немцами Гатчине, танцевал Дудко со своим ансамблем, была большая концертно-драматическая труппа из Минска.

Удалось мне организовать и собственную самодеятельность, в которой помню одного яркого участника, Володю Скворцова, сына ленинградского врача, одаренного пианиста. Но не долго он пробыл у нас – еще летом ушел в партизаны, и судьбу его я не знаю.

В течение всего лета с бригадой происходили какие-то непонятные мне в то время метаморфозы. Во-первых, уже в начале июня был отозван в Берлин генерал-лейтенант Иванов, начальником бригады стал числиться генерал-лейтенант Жиленков, который, тем не менее, никаких командирских функций не исполнял. Фактически командиром был Сахаров. Некоторое время спустя приехал из Берлина еще один эмигрант-офицер, старший лейтенант Виктор Есслер, человек лет 36–38, который оказался адъютантом Жиленкова, играя одновременно роль переводчика. Есслер внешне принадлежал к тому типу людей, которых в России зовут «губошлепами», нижняя губа у него сильно выдавалась вперед и он как бы шлепал ею, когда говорил, и вообще был порядочной размазней.

Таким он казался на вид, на самом деле он, по-видимому, был другим человеком. Мне кажется, он был связан либо с абвером, либо, что еще хуже, с СД, и от них был приставлен к власовской группе. Целых полтора месяца мне пришлось прожить с ним в одной комнате, его «подселил» ко мне опять-таки

Сахаров. Потом этому Рёсслеру суждено было быть переводчиком при самом Власове и оставаться с ним до конца, до того момента, когда в мае 1945 года советская разведка, в последние моменты державшая Власова уже в плотном кольце своих агентов, арестовала их обоих. Судьба Рёсслера похоронена в советских архивах госбезопасности того времени. Не думаю, что он остался жив.

В конце июля все трое – Жиленков, Сахаров и Рёсслер тоже были отозваны в Берлин, и командиром остался полковник Кромиади. Но очень скоро, не позже середины августа, и того отозвали туда же. Остался Ламздорф.

Я стал замечать, что все большую и большую роль в делах бригады начинают играть немцы, говорящие по-русски, из немецкой шпионской школы, размещавшейся в барачном городке на южной окраине Пскова на берегу р. Великой. Вскоре, в одно из воскресений, один из этих немцев утонул в Великой, катаясь пьяным на лодке. Оставшиеся двое, майор Краус и капитан Хорват, с удвоенной энергией начали вмешиваться во внутреннюю жизнь бригады, чуть не ежедневно приезжая в часть. Они в придирчивом тоне вели разговоры с Ламздорфом, презрительно третировали нас, бывших советских офицеров, и это сейчас же сказалось на моральном состоянии личного состава.

Стали учащаться случаи ухода в партизаны солдат и даже офицеров. Старший лейтенант Проскуров, командир одной из рот, очень любивший выпить, был одним из первых таких перебежчиков. Уже находясь в партизанах, он продолжал появляться в ближайших деревнях в знакомых домах и встречался с нашими людьми. Эти встречи не приводили ни к каким эксцессам. По невыясненным тогда причинам Проскуров вскоре застрелил свою любовницу в одной из деревень и после этого исчез с нашего горизонта.

Ни Сахаров, ни Ламздорф, ни сам отец Гермоген не раскрыли мне своевременно тайну, окружавшую основание нашей бригады. Мне самому догадками и сопоставлениями разрозненных услышанных слов, замечаний и фактов пришлось своим умом доходить до истины. Постепенно я узнал, что шпионская школа, расположенная на окраине Пскова – это «северная» разведывательная школа «Цеппелин», бывшая «южная», переведенная сюда из Яблони в Польше после того, как Яблонь и поместье графов Замойских разбомбила советская авиация.

Мне постепенно стало ясно, что и эта «Гвардейская бригада РОА», так же как и бригада Гиля, является детищем и иждивенцем таинственного «Цеппелина» и что никакого действительного формирования бригады из имеющегося в наличии батальона не

произойдет. Вскоре выяснилась и причина усилившегося внимания к нам немцев и – особенно – их почти враждебного к нам тона. Ламздорф шепнул мне, что 16 августа бригада Гиля подняла восстание, перебила всех немцев из «фербиндунгсштаба» и в целом составе, захватив все склады продовольственного, материального и огневого снабжения, перешла к партизанам. Немцы очень опасаются, что и мы сделаем то же самое, поэтому и ездят к нам каждый день. Он предупредил меня, чтобы я был осторожен в разговорах и не высказывал публично осуждающих мнений в адрес немцев, так как они наладили густую сеть своих осведомителей, опасаясь заговоров. Это мне было понятно и без предупреждения Ламздорфа, но все-таки оно не было лишним, так как у многих из нас поразвязались к тому времени языки, особенно злорадствовали мы по поводу провала летнего немецкого выступления. Многие – и я в том числе – испытывали двойственное чувство. С одной стороны, мы понимали, что ничего хорошего для нас нет в том, что неуспех терпят немцы. Это значило, что успех имеет наш главный враг – Сталин. С другой стороны, немцы всем своим поведением настолько уж нам «засели в печенках», настолько обозлили нас, что мы ощутили явную радость, когда узнали из сводок, что им всыпали на Курской дуге так основательно, что они катятся к Днепру. Вот эти-то настроения и надо было скрывать от лазутчиков Крауса и Хорвата.

Также понятно стало, что теперь немцам не до организации русских формирований. Я фактически свернул свою деятельность – прекратились лекции и беседы, перестал ездить в Псков за артистами. Апатия и безразличие постепенно стали распространяться как всеобщее настроение.

Числа 20 августа прибыла новая фигура – вновь назначенный командир бригады, полковник Владимир Владимирович Риль. Помню, меня поразило это созвучие: Владимир Владимирович Гиль и Владимир Владимирович Риль. Приехавший полковник Риль был тоже бывший осинторфовец, друг и приятель Сахарова, Кромиади, Ламздорфа и Жиленкова. Он был лет 40–45, не более, среднего роста, суховатый, даже жилистый, очень подвижный.

Никаких существенных перемен внутри бригады новый командир не произвел, его личное отношение ко мне, очевидно по рекомендации Жиленкова, Сахарова и Кромиади, было очень теплым и доверительным, и все осталось на своих местах, только Ламздорф уехал в Берлин.

Через несколько дней после своего прибытия Риль открыл мне то, что так тщательно скрывали от меня Сахаров и другие – тайну создания нашей бригады. Этот рассказ Риля лишь через

полгода я снова услышал от Сахарова в той же редакции.

Оказалось, что «Цеппелин», одна из разведывательных организаций СС, затеяла в начале 1943 года проведение крупной и дерзкой акции. Решено было создать крупное соединение, действительно бригаду, для того, чтобы летом 1943 года забросить ее вооруженным десантом в район Котласа, насыщенный лагерями заключенных, поднять этих заключенных, перерезать обе дороги, идущие на Архангельск – Мурманск и на Печору, создать трудности с поступлением снабжения в центр и отвлечь на ликвидацию этого дела значительные силы Советской армии. Помню, тогда я содрогнулся внутренне – настолько отвратительна была эта затея по своей сути, не имеющая ничего общего с той идеологической борьбой, которую нужно было вести с большевиками. Ужаснуло меня и то абсолютное безразличие к судьбам тысяч людей, которые таким образом обрекались на заведомую гибель, ибо ясно было, что всем им суждено будет погибнуть, разве только Сахарова с ближайшим окружением немцы попытались бы вывезти обратно на самолете перед концом всего дела, если бы оно было осуществлено. Вся масса людей, конечно же, была бы брошена на произвол судьбы. Задуманный план был авантюрой чистейшей воды, и я был поражен тем, как на нее могли пойти такие люди, как Сахаров, Кромиади, Жиленков. Вначале для этой цели намечалось использовать уже готовую бригаду Гиля, но в связи с его упорным нежеланием и событиями, происшедшими весной, когда был убит начальник пропаганды Точилов, решено было формировать новую часть на основе одного батальона, взятого у Гиля.

Всей этой затее не суждено было осуществиться из-за провала летнего наступления немцев на Курской дуге. Если бы планы летнего наступления немцев южнее Москвы осуществились, этот десант на север от Москвы силами нескольких русских батальонов для перерезывания внешних коммуникаций снабжения был бы также осуществлен.

Мне понятно стало, почему так тщательно скрывалась истинная цель создания этой «Первой гвардейской бригады РОА» – не найти было бы добровольных охотников на такое беспринципное, авантюрное и безнадежное дело, в котором нас использовали бы прямо как наемных ландскнехтов, да еще и против своих же. Удивило меня бесконечно и то, как Сахаров, Кромиади, Ламздорф, да еще и Жиленков могли согласиться на такое грязное дело.

Теперь, когда провалилось летнее наступление и немцы, «выравнивая линию фронта», безудержно катились на запад, «Цеппелин» вынужден был отказаться от своей затеи, а вместе с

этим и от самой бригады, т. е. батальона. В качестве именно такового, т. е. батальона, «бригада» и передается командованию территориальных войск Псковского района. Таким образом, бывшая «Первая гвардейская бригада РОА» вдруг становится линейным охранным батальоном в составе охранного полка вермахта, которым командовал какой-то майор Краузе.

Все это мне рассказал полковник Риль накануне того дня, когда был официально объявлен приказ о переводе нас в состав охранного полка и переселении нас в расположение этого полка в Псков, в казарму на территории так называемых «Крестов» – бывшей загородной тюрьмы, рядом с военным аэродромом.

Разочарование, уныние и тревога охватили людей, ибо бесперспективность такого поворота событий ясна была каждому без дополнительных разъяснений. Ничего хорошего наше будущее нам не сулило. От весенних надежд на формирование русских самостоятельных военных сил не осталось и следа.

5

Переход наш в новое качество – обычных немецких наемников, какими мы стали в составе охранного тылового полка, – переживался всеми очень болезненно. Мне ясно было, что эти настроения найдут какой-нибудь выход, но как этому помешать? Да и нужно ли мешать? Я решил про себя махнуть рукой на все и предоставить все течению естественного хода обстоятельств.

Не успели мы освоиться с нашим новым состоянием, как и Риль был отозван, не пробыв с нами и трех недель. На его место опять вернулся Ламздорф. Сразу же был получен и приказ о назначении нашего, теперь уже батальона, поротно горнизонами в несколько пунктов в 30–40 километрах от Пскова для несения охранной службы: быть заслонами от партизан для района, примыкающего к самому городу.

Ламздорф с маленьким штабом под охраной комендантского взвода разместился в центре своего участка так, чтобы до каждой роты было не более 5–7 километров. За месяц нашего стояния в этих деревнях в некоторых ротах произошло несколько мелких стычек с партизанскими группами по инициативе самих партизан, так как через меня Ламздорф передал командирам рот неофициальный приказ никаких действий против партизан по своей инициативе не производить, оружие применять только в целях самозащиты. Мне он дал распоряжение найти возможность вступить в контакт с партизанами и предупредить их, что мы их не тронем, если они не будут трогать нас. Ламздорф сказал: «Пусть немцы воюют с партизанами, это не наше дело».

Контакт установить мне удалось, у меня была встреча с представителем партизан, который, выслушав наше предложение, сказал, что передаст его своему командованию.

Спустя восемь месяцев, уже в Дании, меня таскала немецкая контрразведка на допрос – что за контакты с партизанами у меня были осенью 1943 года под Псковом? Из допросов мне стало ясно, что человек, с которым у меня была встреча, попал к немцам в плен и на допросе показал о встрече со мной. Хорошо зная, чем кончаются такие допросы на советской стороне, я посчитал свое дело конченным и мысленно простился с белым светом. Но, к моему удивлению, капитан отдела «Айне-Це», т. е. абвера – немецкой армейской контрразведки, приехавший по этому делу специально из Берлина, допросив меня об обстоятельствах встречи и сверяя мой рассказ с бумагой, которая лежала перед ним, предложил мне изложить письменно мотивы, которые

заставили меня искать этой встречи. Я написал ему, что, будучи начальником пропаганды, должен был принимать всевозможные меры для нейтрализации неприятельской контрпропаганды, которой подвергались наши люди со стороны партизан. Партизаны искали и находили возможность для встреч с нашими людьми, чтобы агитировать их на переходы к партизанам. Я посчитал, что и мне не надо пренебрегать этим методом пропагандистской работы и лично попытаться распропагандировать партизан, чтобы уговорить их на переход к нам. Что у меня не было никакой другой цели при этой встрече, доказывается тем фактом, что партизаны остались в России, а я сижу здесь, в Дании, за тысячи километров от них. Если бы у меня были цели перейти к партизанам, я имел сколько угодно возможностей это сделать.

Закончив эту бумагу и передавая ее капитану, я никак не рассчитывал на успех своего объяснения, считая, что это только формальность, которая должна предшествовать моему аресту.

Но капитан, посмотрев в бумагу, даже не предложив мне нигде расписаться, уложил мое сочинение в свой портфель, очень корректно со мной попрощался и извинился, что причинил мне беспокойство, и сказал, что больше меня не задерживает.

Некоторое время я прожил в определенном опасении и тревоге, ожидая прихода «господ в кожаных пальто», но никто так за мной и не пришел. Так я получил еще один предметный урок отличия немецких порядков от наших, на этот раз – в лучшую сторону. «Разве, – думал я, – у нас дело закончилось бы так? Меня таскали бы до тех пор, пока не запутали бы до такой степени, что уже нельзя было бы не посадить, и посадили бы, если бы не взяли сразу».

Но под Псковом той мрачной осенью сорок третьего года наши дела складывались совсем плохо.

Одна из наших рот, первая, выдвинутая уступом уже фактически в глубину партизанского района, не могла избежать массированного пропагандистского воздействия со стороны партизан. Да и как этого можно было избежать, когда наши солдаты на вечеринках в деревнях гуляли вместе с партизанами. Действовал приказ – не нападать на партизан. Вот и не нападали. Но партизаны тоже не нападали – просто они в одну ночь, договорившись предварительно с командиром роты и командирами взводов, проникли в помещение роты, обезоружили часовых, сняли дневальных, вынесли на улицу оружие с пирамид, затем подняли роту по тревоге, построили и увели в свое расположение. Оружие увезли на подготовленных подводах.

Немцы были взбешены таким провалом, немедленно

последовал приказ снять все роты с гарнизонов по деревням, стянуть их в Псков, при этом существовала реальная опасность новых переходов уже в виде открытых бунтов. Эта операция была поручена мне, как «главноуговаривающему». Четверо суток я мотался по ротам и уговаривал людей успокоиться и подчиниться приказу. Опасность получить пулю в затылок или даже в лоб при той степени взвинченности и возбуждения людей была вполне определенной. Однако обошлось. У меня были хорошие отношения с людьми, и люди мне верили.

Роты были собраны снова в «Крестах». И тут – удар! Оказывается, нас ждал приказ командующего территориальными войсками – весь батальон разоружить, людей перевести в лагерь на положение военнопленных. Над офицерами назначить следствие для выявления причин, приводивших к такой крупной измене – переходе целой роты на сторону врага. В этих условиях я отказался дальше играть роль «уговаривающего» и предоставил эту роль Ламздорфу.

Командир полка майор Краузе внезапно встал на нашу защиту. Добился изменения приказа в сторону его смягчения: батальон сдает оружие, люди помещаются в лагерь, но не на положение военнопленных, а на положение резервной части, без права увольнения за ее пределы, т. е. фактически под охраной, но с сохранением военного полевого пайка. Офицеры остаются при оружии, но под домашним арестом, т. е. на казарменном положении впредь до решения общей судьбы.

6

И тут наступил момент, когда авантюризм Сахарова проявился в полном блеске.

Через три дня после случившегося с батальоном в Пскове вдруг появился Сахаров. Уже потом я узнал, что минувшим летом за его деятельность в духе развития русского национализма в добровольческих частях он и был отозван из организованной им бригады, и ему было запрещено формально под угрозой суда появляться на оккупированных русских территориях.

Однако, ловко используя немецкую межведомственную неразбериху, когда одно и то же дело по разным линиям своей деятельности подчинялось различным, зачастую соперничающим и даже враждующим ведомствам, он сумел «обвести вокруг пальца» какое-то начальство в верхах, вытянуть из него липовый приказ, якобы дающий ему право принять проштрафившийся батальон в Пскове, и отправиться с ним на запад, для размещения по укреплениям так называв-мого Атлантического вала. Все это он предпринял после телефонного звонка Ламздорфа, который позвонил Сахарову в Берлин из Пскова и рассказал о случившемся.

С этим «приказом» он и прилетел в Псков. Там ничего не знали о том, что Сахарову было запрещено появляться на русской территории. И тут сработала эта странно устроенная немецкая бюрократическая система. Ведь запрещение Сахарову было дано по линии «Цеппелина», т. е. по ведомству СС, теперь же все дело шло по линии Вермахта, т. е. армии. Это разные ведомства, внутри своей государственной системы далеко не дружащие и соперничающие. Поэтому приезд Сахарова в Псков, блестяще владеющего языком, прекрасно воспитанного, с аристократическими манерами и лоском, прекрасно знающего все психологические слабости немцев, чем-то напоминал въезд победителя на белом коне! Во всяком случае, вермахтовскому начальству в штабе армии «Норд» и в голову не пришла мысль о каком-то криминале. Официально все выглядело вполне законно, и с чисто немецкой оперативностью немцы в два дня выполнили все требования Сахарова: вывод батальона из лагеря, возвращение ему оружия и подачу железнодорожного состава для отправки батальона на запад. Все происходило с кинематографической быстротой.

С песнями роты промаршировали по Пскову к вокзалу, погрузились в эшелон и тронулись на запад. Ехали через Валки, Ригу и Каунас.

В Каунасе вдруг остановка. Задержка. Стоим час, другой, полная неизвестность. Сахаров был вызван куда-то на вокзал сразу после остановки, затем он вернулся в штабной вагон, предложил поиграть в преферанс. Спокойно и невозмутимо играл часа-два или три, еще раз сходил на вокзал, опять вернулся и продолжил игру. Наконец его опять вызывают, на этот раз ненадолго, и вскоре он возвращается. Говорит мне и Ламздорфу: «Забирайте вещи и идемте». Куда, зачем – мне непонятно, хотя Ламздорф, я вижу, знает. Приходим в помещение военного коменданта. Там много офицеров, среди них один русский – наш старый полковник Бородин, едущий с нами в этом же эшелоне.

Сахаров, показывая на меня, говорит коменданту-майору: «Вот этого офицера я беру с собой, батальон к передаче готов», – и тут же, не прощаясь, поворачивается и уходит, мы – за ним, я – в полном недоумении, не понимаю, что происходит. Идем пешком по улицам Каунаса в какую-то гостиницу. По дороге Сахаров рассказал мне всю свою эпопею с приездом в Псков и вызволением батальона из лагеря. Но пока мы ехали из Пскова до Каунаса, немцы разобрались в сахаровской авантюре, последовал приказ задержать эшелон в Каунасе, сгрузить, разоружить и вместе с офицерами запереть в лагерь военнопленных, Сахарова и Ламздорфа – арестовать. Это и было объявлено Сахарову, когда его вызвали в первый раз. На это Сахаров сказал, что любая попытка исполнения этого приказа немедленно вызовет бунт всего батальона. Люди прекрасно вооружены, обучены, обстреляны, кроме того, крайне раздражены последними событиями с ними, находятся в состоянии повышенной возбудимости и готовы на все, хоть они и погибнут, но наделают много бед, разнесут железнодорожный узел в клочья, предлагаю снестись с Берлином, доложить обстановку и пересмотреть приказ. Повернулся и пошел играть в карты. Но успел шепнуть Ламздорфу, чтобы тот готов был поднять батальон по тревоге.

Во время игры я не видел у Сахарова никаких следов волнения или напряжения, играл он совершенно спокойно, без ошибок и ничем не выдал ответственности этих часов ожидания. Как потом мы узнали, в это время к вокзалу стягивались имевшиеся в городе воинские части на случай обещанной Сахаровым заварухи.

Когда он ходил второй раз к коменданту, ответ из Берлина еще не был получен, а когда его вызвали третий раз, то решение было таково: батальон не разоружать, командование передать старшему по чину офицеру (таким был полковник Бородин), отправить батальон через Берлин во Францию, офицеров-эмигрантов Сахарова и Ламздорфа откомандировать в Берлин.

Сахаров и тут нарушил приказ, прихватив с собой еще и меня.

7

Спустя ровно три года мне пришлось давать показания следователю СМЕРШа (советская армейская контрразведывательная организация «Смерть шпионам») о своих похождениях. Когда дело дошло до каунасского эпизода с Сахаровым и с нашим батальоном, он даже рассмеялся – так неправдоподобно, по его полному убеждению, я врал. Но я не врал. Все именно так и было. И потому так было, что происходило именно у немцев.

Почему-то не принято рассматривать различные общественные, социальные явления через призму национального характера народа, в гуще которого это явление происходит. Укоренилось представление, что социальное стоит над национальным, и потому социальные явления одинаковы и у всех народов, имеющих одинаковую общественно-политическую и экономическую организацию общества. Однако жизнь говорит, что это не так. В действительности национальный характер народа определяет всю структуру общества, окрашивает его в национальные цвета, заполняет его национальным содержанием.

Наверное, тысячи томов написаны по поводу звериного характера немецкого фашизма, гитлеровского национал-социализма. Но значительно меньше бумаги истрачено на исследования особенностей национального характера, присущего в той или иной степени каждому немцу. А между тем именно эти особенности и делали возможным то, что такие авантюры, как сахаровская, с его приездом в запрещенный для него район и вызволением целого батальона, были возможны у немцев, в то время как подобного рода «штучки» в Советском Союзе, например, и думать нечего было бы осуществить.

Этим и был вызван смех моего следователя, его абсолютная уверенность в том, что такие дела не могут «проходить». Он прав. У нас не могут проходить. А у немцев – могут. И проходили!

Объясняется все очень просто. Немцы – люди порядка, люди закона. Они – очень законопослушный народ. Ими легко управлять. Для каждого немца – «Бефель ист бефель» – «приказ есть приказ». Он должен исполняться безоговорочно и безусловно. Поэтому немцы очень хорошо, четко и быстро действуют в регламентированных ситуациях и положениях, где их возможные решения и действия очерчены законами, инструкциями и приказами. В пределах известного ему регламента каждый немец действует как хорошо отлаженная машина.

Но стоит только ему очутиться в ситуации, не предусмотренной известной ему инструкцией или приказом, как он теряется, становится беспомощным и бессознательно ищет, кому бы подчиниться, кто бы мог ему отдать приказ, как надо сейчас, в этой непонятной обстановке действовать. Вот почему немцами так легко управлять. Вот почему у них только и мог возникнуть такой порядок, который установил Гитлер. По этой же самой причине у немцев никогда не возникало народного сопротивления типа партизанских движений, хотя и к ним не раз приходили иноземные завоеватели. Немцы всегда покорно подчинялись новому порядку. Гитлеровская затея с организацией «Верфольда» – народного сопротивления советскому вторжению в виде партизанских групп – потому не осуществилась, что принципиально не могла быть осуществлена. Как только пал гитлеровский режим, исчезли те, кто отдавал приказы раньше, на освободившиеся места пришли новые люди, имеющие «по праву победителей» право отдавать свои приказы – и немцы сразу подчинились, сразу стали выполнять приказы новых людей.

В то время как в таких странах, как Польша, Эстония, Латвия, Литва и на таких территориях, как Западная Белоруссия и особенно Западная Украина, еще годы и годы после окончания войны медленно и трудно угасал огонь сопротивления определенных групп, в Германии порядок установился в течение очень коротких недель, после того как стихли раскаты залпов в честь победы. Чем это объясняется, как не национальной особенностью немцев, а именно их «законопослушанием», непреодолимой, врожденной тягой к порядку, каким бы этот порядок ни был?

Однако вернемся к нашему эпизоду. Немцы воюют с Россией. Русские – враги, это понятно, об этом говорят приказы «Обер-команда дер Вермахт», об этом постоянно кричит доктор Геббельс, об этом много говорит и сам обожаемый фюрер. Но в то же время появились еще и какие-то другие русские, про которых говорят, что они – наши союзники, к ним должно быть какое-то другое отношение. Но какое? Где четкие инструкции, где приказы, однозначно указывающие, как держать себя при встрече с такими людьми? Нет таких приказов, нет таких инструкций, а если они и есть, то рядовым исполнителям, немцам, они неизвестны.

Вот и возникает та самая ситуация, когда немец не знает, что ему делать. А когда он не знает, что ему делать из-за отсутствия «инструкции», он подчиняется каждому, кто достаточно твердо, уверенно, властно отдаст ему приказ. Психология немца такова, что если в неясной ему ситуации он встретился с человеком,

отдающим ему приказ, ему и в голову не придет сомневаться, имеет ли право тот человек отдавать приказы. Он, немец, твердо знает, что он сам никогда не будет отдавать приказы, если у него не будет на это права, данного ему теми, кто стоит выше его. Поэтому если какой-то человек ему, немцу, что-то приказывает, значит он, этот человек, безусловно имеет право приказывать. А это значит, в свою очередь, что он, немец, обязан этому подчиниться и приказ выполнить.

Я много раз видел, как Сахаров, тонкий психолог, прекрасно изучивший немцев, ловко пользовался этой их поразительной наивностью. Встретив какого-нибудь немецкого солдата или унтер-офицера и желая, чтобы тот для нас что-нибудь сделал, он начинал на того орать, бесподобно подражая тому, как орут на немцев их собственные начальники, переходя при этом на особо визгливый крик. И надо было приложить немалое усилие, чтобы удержаться от смеха, глядя, как вытягивался бедный немец, и вытягивался тем сильнее, чем визгливее орал на него непонятный офицер в какой-то чужой форме. Немец только в испуге бормотал: «Яволь, герр оффицир, яволь…» Не зная даже, в каком чине стоит перед ним «герр оффицир».

Во время моего пребывания в дружине у Гиля всем нам, в том числе и мне, были выданы удостоверения в виде сложенной вдвое плотной бумажки, на внутренней стороне которой по-немецки и по-русски было напечатано, что предъявитель этого «аусвайса» (пропуска) является военнослужащим Боевой Дружины Боевого Союза русских националистов. Внизу стояла шикарная печать в виде всем известного немецкого орла со свернутой набок головой и паучьей свастикой внизу. С этой бумажкой я проходил через всякие немецкие караулы и заставы и всегда предъявлял ее, когда нарывался на бесчисленные немецкие облавы. Но вот, в августе 1943 года Дружина ушла в партизаны, перебив своих немцев, сразу присоединив к партизанской зоне огромный район контролируемой ею территории, а у меня остался этот «документ», и другого никакого не было. И я спокойно продолжал пользоваться этой «филькиной грамотой», предъявляя ее всегда, когда слышал это противное «Аусвайс, bitte». Один вид только этого орла действовал на немцев чисто магически: любой фельджандарм с нагрудной бляхой или патрульный фельдфебель немедленно щелкал каблуками, козырял и, подавая мне назад удостоверение, почтительно говорил: «Битте зеер, герр обер-лейтенант». Документ воинской части, давно уже перешедшей на сторону противника и сражающейся против них, немцев, продолжает действовать с волшебной силой, и я хожу среди немцев с этой бумажкой, и посмеиваюсь, и дивлюсь – разве у нас

такое возможно было бы? Вот таковы немцы. Лопухи они – с нашей, конечно, точки зрения…

Поэтому, когда Сахаров, в ответ на заявление каунасского железнодорожного коменданта о его аресте, заявил, не дрогнув ни одной жилкой, что его солдаты, как только узнают про этот арест и про то, что их ожидает, немедленно высыплются из своих теплушек, перебьют здесь всех и вся и разнесут этот вокзал по кирпичику, немец дрогнул. Вот она, не предусмотренная инструкцией ситуация. Так же все происходило и в верхах. А результат я уже рассказал.

8

– Ну, расскажите же мне, что такое этот Дабендорф? – сказал я, обращаясь к Сахарову и Ламздорфу.

Втроем мы ехали в Берлин из Каунаса, где ночевали одну ночь после бурно проведенного дня, начавшегося угрожающе и закончившегося так счастливо. Вечером, в ознаменование окончания всех этих перипетий хорошо «тяпнули» в ресторане, и сегодня побаливала голова.

В разговорах между Сахаровым и Ламздорфом постоянно мелькало это словечко «Дабендорф», так что я наконец не выдержал и обратился со своим вопросом к Сахарову.

Тот подробно рассказал мне, так сказать, «ввел в курс дела».

Дабендорф – это деревушка в 40 километрах к югу от Берлина. Там расположен небольшой барачный военный городок, в котором раньше содержались французские военнопленные, а сейчас расположена центральная школа пропагандистов РОА. В этой «школе» со штатом курсантов, офицеров и преподавателей военных и гражданских постоянно числилось около 1200 человек. Она возникла осенью 1942 года, по инициативе офицера генерального штаба, числящегося за Верховным командованием сухопутных сил (ОКХ) капитана Вильфрида Карловича Штрик-Штрикфельда, немца, родившегося в России, после революции жившего до сорокового года в Прибалтике. Ему была летом 1942 года поручена обработка Власова с целью использования как фигуры для возглавления «освободительного движения» русских, придуманного немцами в качестве приманки для привлечения русских добровольцев.

Формально, по военным штатам, школа в Дабендорфе числилась батальоном при отделе верховного главнокомандования (ОКВ) «Военная пропаганда IV», а капитан Штрикфельд считался командиром этого батальона.

По немецкой путаной системе в Дабендорфе перекрещивались самые разные немецкие официальные компетенции, благодаря чему, с одной стороны, возникало множество затруднений в его работе, а с другой – облегчалось его выживание при воздействии враждебно настроенных нацистских тенденций. Так, в области управления, формально, в том числе и по линии снабжения, Дабендорфовская школа была подчинена III военному округу (Берлину), в отношении содержания ее деятельности – отделу пропаганды ОКБ «Военная пропаганда IV», внутриполитически – отделу «Иноземные войска Востока» ОКХ (генералу Гелену) и, кроме всего прочего, созданному немцами

лишенному всякого здравого смысла «Командованию добровольческими войсками на Востоке» – генералу Гельмиху (потом – Кестрингу).

Именно благодаря этой удивительной неразберихе, ловкому и пройдошистому капитану Штрикфельду удавалось при возникновении ситуаций, угрожавших существованию Дабендорфа со стороны какой-нибудь из этих инстанций, прибегать к помощи влиятельных сил в других инстанциях и отстаивать интересы своего заведения. Таким путем, например, он добился получения штата в 1200 человек вместо отведенных ему сначала 120 человек.

При школе в Дабендорфе находились и редакции обеих газет – «Заря» для военнопленных и «Доброволец» для русских военных частей.

По Дабендорфу же проходило и содержание всего власовского штаба, т. е. Власова с другими генералами, согласившимися его поддерживать. Всего при школе в Дабендорфе содержалось восемь генералов, шестьдесят старших офицеров и несколько сот нижестоящих офицеров по русскому персоналу. Предполагалось доведение штата школы до 3600 плановых офицерских должностей.

Задачей этой школы была, во-первых, подготовка на краткосрочных курсах «пропагандистов РОА», официально называвшихся «инспекторами» для русских добровольческих частей и так называемых «хиви» – «хильфсвиллигеров» – набранных немцами из военнопленных рабочих при военных частях для вспомогательных работ. «Добровольные помощники» – так они официально назывались. Готовились пропагандисты также и для лагерей военнопленных, раскиданных по всей Европе.

Во-вторых, задачей этой «школы» была работа по организации русской прессы на немецкой стороне, возглавляемой русскими, а не немцами и говорящей с русским населением на привычном ему языке о главных проблемах современности.

В-третьих, – и в главных – дать возможность Власову и его штабу под прикрытием этой «школы» выработать программу Освободительного движения, собрать и обучить кадры, чтобы все подготовить к тому моменту, когда будет решен вопрос о создании союзного с немцами русского руководства военными, политическими и гражданскими вопросами оккупированной немцами части России. Эта работа производится русскими в тайне от немецкого государственного руководства, из немцев в нее посвящено только три человека, включая Штрикфельда. Все трое – немцы, родившиеся, выучившиеся, воспитавшиеся и

выросшие в России. Цель этой работы в том, чтобы, когда понадобится – выступить со всем готовым: программой, прессой, структурой, кадрами. Войска к тому моменту уже будут сформированы.

Далеко идущие планы! Веселящие душу новости!

– Так мы туда и едем? В этот Дабендорф? – спросил я снова.

– Сначала мы едем ко мне, в Берлин, на Аугсбур-герштрассе, 47, – сказал Сахаров. – Там видно будет.

Мы прибыли в Берлин ранним утром серого октябрьского дня. Молоденький немецкий лейтенантик, ехавший с нами в одном купе, доставая с верхней полки свой тяжеленный чемодан, почти сундук, неловко уронил его мне на голову, поцарапал мне нос. Сахаров немедленно воспользовался случаем и наорал на офицерика до полной потери тем дара речи.

Унимая кровотечение из царапины на горбинке носа, я пытался отшучиваться:

– Ведь с Восточного фронта едем, даже неудобно оттуда приезжать целыми. Вот и фронтовая отметина!

Сахаровская квартира оказалась рядом с берлинским зоопарком, неподалеку от знаменитого парка Тиргартен. Впервые видел я европейскую средне-буржуазную квартиру и с интересом воспринимал новые впечатления. Большие, высокие комнаты, старинная мебель, люстры, торшеры – аксессуары забытого нами быта – казались чем-то нереальным по причине такого молниеносного перехода от темных, закопченных и убогих изб псковских деревень к благоустройству европейского жилища.

Сахаров оставил меня одного, поручив хозяйке своей квартиры, фрау Пагель, немке неопределенного возраста, окружить меня всяческими заботами. Он вернулся только к концу дня, сказав, что завтра едем в Дабендорф, где он меня представит всякому начальству – русскому и немецкому.

9

События продолжали мелькать со скоростью кадров оборвавшейся кинопленки.

В Дабендорфе Сахаров представил меня генерал-майору Трухину, начальнику штаба Власова и коменданту Дабендорфского лагеря высокому, худому немцу капитану фон Деллингсгаузену, говорившему по-русски прилично, но несколько с трудом. Власова и Штрик-фельда в тот день в Дабендорфе не было. Затем поймал какого-то майора и попросил того показать мне Дабендорф, т. е. всю школу, и ввести меня в курс жизни этого лагеря, а сам ушел.

Майор больше расспрашивал меня, чем рассказывал и показывал, его жизнь эти два года плена протекала хоть и не очень весело, но ровно, и перипетии и ухабы моей судьбы ему были очень интересны, кроме того, его очень интересовало фактическое состояние дел в русских частях на Восточном фронте. Вдруг майор меня спросил:

– А правда, что русские части с Восточного фронта перебрасываются на Западный?

– Как это так? – в свою очередь спросил я.

– Ну, вот ваш же батальон, Вы рассказываете, отправлен был в Париж… – ответил майор.

– Так наш батальон был как бы особенный, немцы считали его неблагонадежным, потому отправили… – пояснил я.

– Да в том-то и дело, что не только ваш. Мы слышали тут, что идет массовая переброска русских батальонов на Западный фронт. Я думал, вы точно знаете, потому и спросил…

– Я ничего не знаю, это для меня новость… Я думал, что это касалось только нашего батальона. Это новость так новость. Что же получается, вместо борьбы с большевиками нам предстоит бороться с плутократами?

– Вот и нас здесь так же это ошарашило, – подтвердил майор. – Конец всем нашим надеждам на формирование армии, превращаемся в простых наймитов, союзники могут нас даже в плен не брать, а приканчивать на месте, ведь мы оказываемся вроде вне закона… А какая у вас форма красивая! – закончил майор, оглядывая меня с головы до ног.

Мы с Сахаровым носили в Пскове (Ламздорф, Кромиади, Жиленков, Иванов, Весслер и отец Гермоген – тоже) русскую форму с золотыми погонами и трехцветной гофрированной офицерской кокардой на фуражке. Здесь же, в Дабендорфе, все курсанты и офицеры ходили в унылой грязно-серой немецкой

униформе, и я уже поймал на себе не один удивленный и немножко завистливый взгляд, пока мы с майором ходили по лагерю. В Советской армии уже введены были погоны и по внешнему виду от советского офицера меня отличали только кокарда, на которой не было звездочки, да, пожалуй, еще оружие – вместо советского «ТТ» у меня на боку в кобуре висел крупнокалиберный 13-зарядный бельгийский «Лепаж».

Навстречу нам шел Сахаров, по виду – довольный.

– Идемте, – сказал он.

– Куда? – спросил я.

– В канцелярию, потом еще кое-куда.

Я простился с майором и пошел за своим опекуном.

– Вы зачислены в штаб Дабендорфа в чине поручика. Они хотели вас зачислить в штат курсантом, но я не дал им, сказал, что вас незачем проводить через курсы пропагандистов, потому что с точки зрения требований, которые они предъявляют к своим пропагандистам, вы подготовлены лучше любого из них. Кроме того, вы делом доказали эту подготовленность в очень сложной обстановке Восточного фронта на протяжении полутора лет. Наши-то согласились со мной сразу, а этот тупица Деллингсгаузен долго упирался. Пришлось позвонить Штрику, хорошо, застал его на Викториаштрассе. Я ему объяснил ситуацию, он меня сразу понял и сказал Деллингу, чтобы согласился. Теперь все закончено, приказ о вашем зачислении уже подписан, идем в канцелярию, там нужно кое-что оформить, – сказал мне Сахаров, когда мы направлялись к крайнему от ворот бараку.

Все формальности свелись только к тому, что мне выдали на руки настоящий официальный документ, удостоверяющий мою принадлежность к немецкой армии – «Soldbuch» – Солдатскую книжку, где был написан мой новый чин в РОА – поручик. У Гиля я сначала был прапорщиком, потом лейтенантом, незадолго до конца моего там пребывания Точилов был повышен до майора, а я стал старшим лейтенантом. Таким я и оставался до прибытия в этот Дабендорф. Теперь вот стал поручиком.

У Сахарова на руках были документы на получение нам обоим нового офицерского немецкого обмундирования в двух комплектах – полевого и парадного, чемоданов, белья и личного оружия.

– А как же наша форма? – спросил я.

– Оставьте себе ее на память. Завтра придется переодеваться во все немецкое, – сказал Сахаров.

– Скажите, Игорь Константинович, – спросил я, – это правда, что русские батальоны перебрасываются с Востока на Запад?

– Ну вы же сами не далее как позавчера видели это своими глазами – наш батальон поехал в Париж, – несколько криво ухмыльнулся Сахаров.

– Но я думал, что это случилось только с нашим батальоном! – воскликнул я.

– К сожалению нет, не только с нашим. А вы от кого об этом узнали? – спросил Сахаров.

Я сказал.

– Это верно. Немцы не верят больше в стойкость русских войск, если те будут оставаться на Востоке. В то же время они уже не могут обойтись без нас. Если они оставят русские части на Востоке, то при дальнейшем наступлении красных переходов будет все больше и больше, и закончится массовым бунтом. Вот почему и переводят нас на Запад, – сказал мне Сахаров.

– Но это же крах всего нашего дела, крах идеи, ведь мы теперь будем по-настоящему наемниками, ландскнехтами и больше ничем. Как это так? – с горечью спросил я Сахарова. – Как относится к этому Власов, весь его здешний штаб?

– Ну, как относится… – промямлил Сахаров. – Все понимают, конечно, что в общем-то это беда, и большая беда, но что можно сделать? Ведь нам, по сути, не подчинен ни один человек, все в руках немцев, они всем командуют. Андрей Андреевич – генерал без армии… Надо смотреть на эти события стой стороны, что хоть так, а большая часть русских антисоветских сил будет сохранена, в будущем немцы должны же опомниться, одуматься и дадут нам собраться вместе. Есть у этого дела и еще одна сторона, тоже немаловажная – пусть наши ребята посмотрят Европу, поглядят, как другие люди живут. Сравнение – лучший способ познания. Сравнят свою жизнь при Сталине с тем, как живут люди в Европе, кое-что у них в головах прояснится, кто колеблется – укрепится в своих антибольшевистских убеждениях, – закончил Сахаров.

«Ну, это как сказать… – подумалось мне, – у иного этот процесс как раз наоборот пойдет. Все далекое, особенно прошедшее, всегда кажется лучше близкого и настоящего, современного. Люди всегда склонны идеализировать прошлое, забывать плохое в нем, что было, а то плохое, что всегда найдется в окружающей современной жизни, вылезает на первый план и затмевает все остальное». – Но я не высказал Сахарову эти мысли, не желая спорить с ним, а только спросил:

– А что же с нами теперь дальше будет?

– С нами – это с вами и со мной? – улыбнулся Сахаров.

– Да.

– Ну, этот вопрос уже решен. Вот бумаги, – он вытащил из кармана пачку каких-то немецких документов, – здесь ответ на

ваши вопросы, – он опять улыбнулся, весело и беззаботно, как всегда, и продолжал:

– Мы едем в Данию! Туда перемещено несколько русских батальонов с разных участков северного фронта. Я еду начальником группы пропагандистов, вы – моим заместителем. Нам предстоит организовать пропагандистскую работу в этих батальонах, но самое главное – наладить издание информационного бюллетеня, который будем издавать своими силами.

Будем в нем печатать местные материалы из жизни своих частей, а материалы общего характера будут нам присылаться из главной редакции «Добровольца» через дабендорфских курьеров. Такая поставлена нам задача. Вы довольны? – спросил он меня.

– Доволен, – ответил я.

Действительно, я был доволен таким неожиданным поворотом в своей судьбе, зигзаги которой меня уже стали несколько утомлять. Ждал я чего угодно, но уж никак не поездки в какую-то Данию, о которой я, кажется, и не вспоминал с тех пор, как в детстве прочитал сказки Андерсена.

Сахаров продолжал между тем:

– Посмотрите настоящую буржуазную страну, это вам тоже очень полезно в познавательном смысле. Немцы хоть и оккупируют ее, но оккупационный режим там совсем не такой, как везде, очень мягкий, они стараются совсем не вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Даже короля им оставили, и правительство, и полицию, даже армия была оставлена первое время, потом только разоружили, когда эти военные попробовали затрепыхаться. Массовых репрессий никаких, стараются не раздражать датчан.

– А с чем это связано? – спросил я.

– Дания их кормит, немцев. Маленькая страна, меньше пяти миллионов, а продовольствия производит столько, что может прокормить в десять раз большее число людей. До войны они вывозили продовольствие в основном в Англию, теперь – все в Германию. И немцы не забирают у них все даром, а снабжают Данию за это углем, металлом, текстилем и другими товарами, которыми могут, учитывая ограниченные возможности военного времени.

– И датчане довольны таким положением? – опять спросил я.

– Зная европейцев, думаю, что нет… Впрочем, это мы сами скоро увидим, – ответил Сахаров. – С нами еще поедет четверо офицеров из числа курсантов Дабендорфа, только что окончивших курсы, и еще трое солдат, знакомых с печатным делом. До войны были печатниками. Среди них один бывший

инженер-полиграфист, кажется, из Ленинграда. Вы сейчас поезжайте домой, фрау Пагель накормит вас обедом, а я останусь здесь заканчивать все формальности, найду этих ребят, все обговорю, завтра вечером нам надо уже выехать из Берлина, послезавтра будем уже в Дании. К концу дня я приеду, пойдем в Военный универмаг – он назвал этот магазин как-то иначе, я не запомнил, – там экипируемся и будем готовы к завтрашней поездке.

Он хлопнул меня по плечу в знак одобрения, как любил вообще делать с подчиненными, и рассказал, как ехать, чтобы не заблудиться в этом огромном городе.

10

Удивляться приходилось решительно на каждом шагу – так много нового, невиданного и неожиданного увидел я в эти краткие дни пребывания в Берлине.

Среди прочего, удивившего меня своей неожиданностью, было огромное количество русских, в том числе белорусов и украинцев, попадавшихся всюду в городе. Особенно часто попадались наши девушки, они работали во многих магазинах, столовых, кафе. Неизбежный остовский знак они умели так искусно вышить на халатике или передничке, что у многих он выглядел как какое-то украшение. Другие же, наоборот, носили крупно и ярко написанные три буквы OST открыто, показывая свое презрение к этому клейму, придуманному немцами для глумления над вывезенными в Германию советскими гражданами.

Всюду встречаясь с земляками, я увидел, как действительно невозможно стало немцам обходиться без нас, русских, не только на фронте, но и в тылу тоже. Значит, война пощипала их основательно, раз образовалось столько прорех, которые нужно затыкать иностранцами, да еще теми, со страной которых воюешь. Этакое бывает не от хорошей жизни. Но это значит, что чем немцам хуже, тем нам будет лучше, тем скорее они одумаются и придут в разум, так думалось мне тогда.

Сахаров вернулся к вечеру очень довольный тем, как складывались у него дела. Сразу же потащил меня в магазин, соответствующий нашему Военторгу, с той только разницей, что там совсем не было товаров и предметов гражданского обихода, а только все для военных. Впервые в жизни столкнулся я с европейскими торговым сервисом и снова вынужден был удивляться незнакомым мне формам жизни чужого народа.

Сахаров придирчиво заставлял меня примеривать один за другим комплекты обмундирования, всякий раз находя какие-нибудь недостатки. Он возился со мной, словно я ему был сын, хотя он был старше меня всего на 3–4 года.

Бедные «фроляйн» устали таскать эти комплекты, но не подавали никакого вида и все делали с полной готовностью и милейшими улыбками.

Наконец мы оделись, Сахаров отдал еще мундиры, чтобы были к ним сейчас же пришиты нарукавные знаки «РОА», с фуражек сорвал немецких «орлов» и прицепил наши трехцветные офицерские кокарды. Получился немецко-русский невразумительный гибрид – офицер РОА. В таком полностью оформленном виде мы вышли из магазина. На боку у нас в

новеньких кобурах вместо сахаровского «Парабеллума» и моего «Лепажа» висели новенькие же «Вальтеры», на ногах были офицерские сапоги с жесткими узкими голенищами-бутылками, которые ни надеть, ни снять без посторонней помощи или специальных приспособлений нельзя.

В руках мы несли огромные офицерские чемоданы-конверты, в которые затолкали наши старые, отслужившие срок вещи – нашу русскую форму, в которой нам было так хорошо себя чувствовать.

На другой день вечером мы выехали из Берлина через Северный вокзал большой компанией. Наш путь лежал из Берлина через Росток на Варнемюнде – маленький портовый городок, откуда ходили паромы в Данию.

Рано утром, после ночи, проведенной непривычно в сидячем положении – такие вагоны, в Ростоке Сахаров повел нас подкормиться в раздаточный пункт. На каждом вокзале и на каждой крупной станции у немцев во время войны были такие пункты, где кормили проезжающих военных. Достаточно было подойти к окошку, и тебе подавали кружку эрзац-кофе и миску густого горохового или картофельного супа-пюре, так называемого «айнтопф», не требуя с тебя ни денег, ни карточек, ни документов. Показалось мало одной миски – подойди, получишь вторую.

В Ростоке оказалось, что не надо самим идти к раздаче, там бегали проворные «фроляйн» в чистых передничках. Когда они подскочили к нам – мы увидели, что это опять наши же, русские. Девчушки тоже обрадовались, сказали: «Сейчас мы вам принесем получше». И действительно, приволокли, накормили нас за счет Рейха как следует. Жалко было от них уходить, но надо было торопиться, местный поезд на Варнемюнде уже отходил. Паром оказался невиданным нами пароходом, внутрь которого частями вводили целый железнодорожный состав, вверху были прогулочные палубы, ресторан, кафе, каюты. Опять множество новых впечатлений и картин. Военных среди пассажиров немного, больше гражданские, много датчан, их странную, как бы заикающуюся речь впервые слышим. Странные звуки послышались со стороны моря, когда мы выходили из гавани. Какой-то зверь мычал громко и печально, похоже на заблудившуюся в лесу, измучившуюся корову, потерявшую надежду найти дорогу домой.

– Это «ревун», – сказал Сахаров, – буй такой, обозначает фарватер. Качаясь на волнах, он издает такой звук, чтобы привлечь внимание проходящего судна.

Опять новость для нас, сугубо континентальных жителей,

серых русаков.

К вечеру мы были уже на датской земле, в Гедзере, маленьком портовом городке на южной оконечности большого датского острова Фальстер. Поезд уже ждал прихода парома, пересадка заняла не более получаса, и мы уже ехали по совсем-совсем незнакомой стране, жадно вглядываясь в мелькающие за окнами картины ландшафта. Поражала общая ухоженность, прилизанность даже полей и садов, которые мы видели. Огородов в нашем, привычно русском смысле мы не видели вовсе. Деревень, опять же, в нашем понимании – тоже нет. Все хутора и хутора на небольшом отдалении друг от друга, иногда мелькнет скопление людских построек, по нашим понятиям – побольше села, поменьше городка, обязательно с протестантской церковью и зданием ратуши, над крышей которой высится башенка, вроде нашей пожарной каланчи. Все, что мы видели, мы старались примерять на наши масштабы, сравнить с чем-нибудь нашим, знакомым и родным. К огорчению, не всегда это получалось.

Как-то мы заговорились, отвернулись от окон, и вдруг слышим:

– Смотрите, смотрите, по морю едем!

Мы кинулись к окнам – действительно, наш поезд шел по морю! Справа и слева, впереди и сзади и под нами тоже – везде вода! Вот чудо!

Сахаров смеется – что, не видели еще такого? По дамбе едем, девять километров длиной дамба с острова Фальстер до острова Зееланд. Тут море мелкое, вот дамбу и построили. Чудно как-то – дамбу-то нам не видно, и создается впечатление, что вагоны катятся прямо по воде.

Уже в спускающихся сумерках мы въехали на территорию другого датского острова. Поодаль от дороги виднелись все такие же ухоженные хутора, как и на острове Фальстер, только они были окружены какими-то белыми пятнами, иногда весь хутор был окружен чем-то белым, как выпавший снег. Было 1 ноября, по нашему календарю мог быть и в самом деле снег, но почему он окружал только хутора? Каждый хутор представлял собой дом, обязательно каменный, иногда двухэтажный, с примыкавшими каменными же просторными хозяйственными постройками, тоже обычно двухэтажными. Примыкавшая к дому и сараям территория окружена каменным забором с воротами. Сад, имевшийся у каждого хутора, располагался за пределами этой огороженной территории. Вокруг хутора располагались поля, уже опустевшие по осеннему времени, но показывающие следы тщательной послеуборочной обработки почвы.

Эти белые пятна у хуторов возбудили наше любопытство, и

мы строили самые разные догадки. Сахаров, глядя на нас и слушая, только посмеивался, но ничего не говорил. Было видно, что он знает, в чем дело, но его забавляет наша почти детская наивность и непосредственность. Вдруг мы увидели впереди поворот дороги и у поворота – хутор вблизи полотна, с этим таинственным белым пятном вокруг.

– Сейчас узнаем! – дружно вырвалось у нас.

Через несколько минут мы уже мчались в каких-нибудь ста метрах от этого хутора и в еще не сгустившихся сумерках ясно различили, из чего состоят эти белые пятна вокруг хуторов, это были огромные, в несколько сот голов, стаи белых, как снег, кур!

Вот оно, оказывается, что! Дружным смехом мы отметили наши открытие!

Оказывается, хозяева хуторов выпускают кур осенью на поля утром, чтобы пастись, а вечером, перед сумерками, те возвращаются домой и собираются огромными стаями вокруг усадьбы в ожидании, когда их впустят в курятник. Каким же должен быть курятник! Вот оно, частнокапиталистическое хозяйство!

Поздно вечером мы вкатились под стеклянную крышу огромного копенгагенского вокзала. В городе – затемнение, но какое-то условное. Достаточно света на всех улицах, только окна домов зашторены. В зале, куда прибывают поезда, огромные застекленные витрины с рекламными выставками самых разнообразных товаров – мебели, мехов и др. На каждой витрине – вывески магазина, которому принадлежит витрина. Идем мимо этих витрин и таращим на все глаза.

Гостиница – рядом с вокзалом. Успел прочитать огромную вывеску-рекламу на крыше четырехэтажного здания: «Йербаанотель», значит это «отель «Железнодорожный».

Все здесь вызывает наше удивление. Чистота, лоск, тишина, ковры, бронза, позолота, лак. Бесшумный ресторан внизу, кельнеры, двигающиеся плавно и вкрадчиво, совершенно бесшумно, обслуживающие молниеносно. Все так непривычно. Уже два с половиной года я не держал в руках нож и вилку, привык во всех случаях жизни орудовать одной ложкой. Приходится заново всему учиться.

Мне отведен отдельный номер, рядом с номером Сахарова. Ванна, горячая вода, махровая простыня и накрахмаленное полотенце, душистое мыло в сверкающей кафелем и никелем ванной. Европейский сервис окружил со всех сторон серого русского солдафона, за несколько коротких дней игрой судьбы перенесенного из дымных псковских болот на эту ухоженную, вылизанную датскую землю.

Удивление вызвала конструкция двойных дверей в номере. Дверь, как шкаф, только дверцы этого шкафа открываются и спереди, и сзади, т. е. в коридор тоже. Между дверцами – приспособление для развешивания одежды. Сахаров предупредил меня, чтобы я обязательно выставил на ночь сапоги за дверь.

– Не упрут? – спросил я.

Сахаров только сердито взглянул в сторону моей серости.

Утром меня разбудил странный, ровный шум, доносившийся с улицы через полуоткрытую фрамугу окна. Подхожу, отдергиваю штору и вижу с высоты третьего этажа: вся улица перед гостиницей запружена сплошным потоком велосипедистов, катящих в одну сторону. Их были тысячи – этих безмолвных всадников, мужчин и женщин, сосредоточенно крутящих педали и катящихся впритык друг к другу. Никогда ничего подобного не видел! Что это? «Демонстрация», – подумалось мне. Потом выяснилось – на работу ехал рабочий, трудовой датский люд. Через час улица обрела обычный вид. Вечером картина повторилась, только толпа велосипедистов катилась в обратном направлении.

Но утром меня ждал еще другой сюрприз, серьезнее. Когда я открыл дверцы этого странного шкафа в дверях, где я с вечера на плечиках и крючках развесил свои вещи, предусмотрительно положив пистолет под подушку, по фронтовой привычке, оказалось, что шкаф пуст! Совершенно, абсолютно пуст! Вот так шутки! Остался без мундира, без шинели, без фуражки и главное – без штанов. Что делать? Не идти же в одних трусах к Сахарову в номер за советом. Да, сапоги! Надо же посмотреть сапоги! Конечно же, их тоже уперли. Ведь спрашивал же Сахарова, не упрут ли? Приоткрываю дверь и осторожно выглядываю в коридор. Сапоги тут, на месте! Хватаю их немедленно и втаскиваю в номер, сгоряча не замечаю даже, что они начищены до зеркального блеска. Однако надо проверить – мои ли сапоги, не подменили ли?

Верчу в руках, разглядываю их со всех сторон, тут только замечаю, что они блестят так, что в них можно глядеться. Размышляю, что бы это значило? Какой-то легкий звук, еле уловимый шорох, чуть слышно щелчок донесся со стороны двери. Прислушался – все тихо. Подошел к двери, распахнул дверцу шкафа – ба-а! Мой костюм и шинель висят на вешалках, брюки отглажены, мундир вычищен! Так вот в чем дело! Вот для чего эта странная конструкция дверей – шкафа! Стало смешно, и на душе полегчало: все цело, ничего не пропало, наоборот, все приведено в порядок.

Ну, Европа!

Через полчаса пришел ко мне Сахаров справиться, как я. Рассказал ему, уж он хохотал…

– Хотел ведь вас предупредить, чтобы вы не развешивали вещи по стульям в номере, а повесили бы в этот шкаф, ночью все вычистят – да забыл. А вы сами догадались – только на одну половину, развесили в шкафу, а вот для чего это делается – не сообразили, – давясь от смеха, говорил он. – Таких сюрпризов вам будет еще довольно здесь, в Дании. Культура человеческих отношений здесь очень высока, гораздо выше, чем в Германии.

Посмеявшись, он повел нас завтракать. Мы давно уже забыли, что можно есть так вкусно, обильно и в такой приятной обстановке за столом с белоснежными, накрахмаленными скатертями, с чудесным пивом, шипящим и пенящимся в высоких тонких стаканах с предупредительными и ловкими кельнерами. Заправлял всем Сахаров – он заказывал, предварительно справившись о наших желаниях, он же расплачивался датскими кронами. Мы еще денег не имели.

Отправляемся осматривать город. Сразу подмечаем особенности оккупационного режима в Дании – немцев почти не видно на улицах Копенгагена. Очень странными кажутся звуки датской речи, слышимой отовсюду. Наблюдаем, как общительны, добродушны и доброжелательны датчане в контактах между собой и как они сразу каменеют, замыкаются, притворяются неслышащими или непонимающими, когда к ним обращаются люди в немецкой форме…

Поразило обилие магазинов и товаров в них, особенно – разнообразие всякого продовольствия и самой разнообразной снеди, включая и деликатесную. Велосипеды стоят прямо на улицах тысячами в специальных металлических барьерчиках – стойках. Много улиц, узких и кривых настолько, что по ним можно двигаться только пешком. Такой оказалась и главная улица города – Вестерброгаде. Со всех сторон лезут и лезут в глаза новые, не известные нам раньше формы чужой жизни. Как интересно!

Вечер проводим в эмигрантской семье, обмениваемся взаимно интересной для обеих сторон информацией, получаем нужные нам сведения для поисков типографии, в которой может иметься русский шрифт. Это сейчас для нас главная задача следующего дня.

С помощью эмигрантов на другой день разыскиваем такую типографию. Договариваемся о покупке у нее русского шрифта, но не находим типографию, соглашающуюся печатать нам бюллетень. Одни боятся террористических выпадов со стороны подпольщиков движения сопротивления, другие прямо не хотят

сотрудничать с оккупантами. Дело застопоривается.

После нескольких дней поисков типографии в Копенгагене решаем перебраться поближе к расположению наших частей, где мы еще и не успели побывать. Это на северо-западном побережье Ютландского полуострова, на берегу Северного моря, там немцами возведены солидные береговые укрепления. Тяжелую береговую артиллерию, примитивную с теперешних взглядов радарную установку на самом северном конце – «пальце» – полуострова обслуживают немцы, наши войска составляют пехотные гарнизоны этих укрепленных районов.

Выбираем маленький датский городок Хабро в конце узкого Хаброфиорда, длинного, извилистого, как река, морского залива. Глухая датская провинция. Живем с Сахаровым на частной квартире. Гостеприимные хозяева, этакие датские Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем. Питаемся в ближайшем маленьком ресторанчике на положении пансионеров. Хозяин ресторанчика кормит нас, ровно готовит на убой. Не все одинаково легко привыкаем к особенностям датской кухни, стола и рационов. Меня несколько угнетают особенно обильные ужины, да еще и с «возлияниями», до которых оказывается охоч Сахаров. Удивляет дешевизна питания и добродушие провинциалов. После Копенгагена это так заметно.

Объехали батальоны, познакомились с людьми, командирами частей и офицерами. Выступали с первыми речами по поводу нашего положения, отвечали на множество вопросов. Все тяжело переживают вынужденное расставание с Родиной, вопросы в большинстве крутятся вокруг одного и того же: понимать ли нам себя теперь как простых немецких наемников, а не идейных борцов с большевизмом? Что отвечать?

Приходилось нам с Сахаровым выкручиваться, говорить о временной мере перевода на Запад, предлагать посмотреть на это дело с личной, «шкурнической» точки зрения: кому лучше – немцам, оставшимся на Восточном фронте под все нарастающим давлением советских войск, или нам здесь, в спокойной и сытной Дании? Мы здесь, в глубоком тылу, лучше переживем этот период формирования русских сил, лучше выдержим и сохраним свой личный состав, отдохнем, окрепнем, и когда немцы остановят и опять погонят большевиков, мы и вернемся назад уже не в виде отдельных батальонов в составе немецких полков, а целой и большой собственной армией под своим, русским командованием. Так, сознательно, зная, что лжем, давно потеряв уже всякую веру в такие возможности, мы с Сахаровым обманывали наших русских людей, одетых в немецкие солдатские шинели. Такой инструктаж мы дали и нашим пропагандистам,

приехавшим вместе с нами для пропагандистской работы в частях. Каждого из них мы прикомандировали к частям, по одному на батальон. Батальонов оказалось семь, трех пропагандистов не хватало. Сахаров послал запрос еще на трех человек.

Вернувшись из объезда батальонов, приступаем к изданию первого номера бюллетеня, пока на копировальном аппарате «шапирозоасфе» с помощью матриц на восковой бумаге. Пишущую машинку с русским шрифтом марки «Continental» привезли с собой. Срочно приходится учиться печатать на машинке. Сахаров подписывается «ответственный редактор», моя подпись – вторая «Зам. отв. редактора». Сахаров дает мне задание написать для него первую, вступительную передовую статью, открывающую издание бюллетеня и приветствующую русских людей, солдатская судьба которых забросила их так далеко от Родины.

Придумываем название бюллетеня. Сахарову пришла мысль назвать бюллетень «На дальнем посту Европы», я говорю, что упоминание о Европе здесь ни к чему, просто «На дальнем посту» будет хорошо звучать: и с настроением, и отвечает фактическому положению дела. Сахаров согласился, так и осталось. Немецкий подзаголовок звучал так: «Ауф фернер вахт».

Когда первый номер, напечатанный в количестве ста экземпляров, ушел в батальоны, Сахаров сказал:

– Немцы не разрешают нам издавать газету, но мы сделаем свою газету, пошли они к черту. Вот только получим шрифт из Копенгагена, найдем типографию – будем делать газету.

Через месяц типография найдена. Это оказалась совсем маленькая, захудалая типографишка некоего Миллера, датчанина с немецкой фамилией, не брезгующего брать заказы на печатание немецких бумаг. Он согласился печатать и нашу газету. Мы даем ему шрифт, бумагу, наших наборщиков и корректора, он же – технический редактор, инженер-полиграфист из Ленинграда, Михаил Александрович Григорьев. Набор ручной, дедовский. Печатные машины у Миллера тоже дедовские. Стоит за ними он сам. Тоже называется «капиталист», только в кожаном фартуке. Но расположена эта типография Миллера в соседнем, 40 километров севернее – городе Ольборге, на берегу Ольборгфиорда. Там же располагается командование немецкой дивизии, в состав которой входят наши батальоны и которой по формальной, чисто военной линии, подчинены и мы. Переезжаем в Ольборг.

11

Ольборгфиорд – по сути не фиорд, то есть не залив, а пролив, широкий, как Нева, разделяющий два разных города. Тот, что на южном берегу фиорда, и есть Ольборг, четвертый по величине город Дании. Типограф, согласившийся нас печатать, толстый Миллер, был хозяином совсем маленькой типографии с несколькими работниками. Его рабочие к нашей работе не имели никакого касательства. Набор, верстку полос и корректуру мы все делали своими силами, клише с фотографией заказывали в другую типографию, только печатал на машине сам Миллер. Ему платили за эту работу постоянно, аккуратно и хорошо, и он был очень заинтересован в нас как заказчиках. Мы ходили у него в почетных клиентах.

Весь сбор материала, его литературное оформление и редакторская обработка лежали на мне, поглощая все мое время, так как печатать на машинке надо было тоже самому. Быстро и скоро был готов первый номер нашей газеты на четырех страницах, объемом в полпечатного листа.

Наш толстый Миллер по этому случаю закатил нам парадный обед, пригласив всех нас, включая и наборщиков, к себе домой. Мы получили возможность впервые побывать в частном доме мелкого буржуа и посмотреть на эту новую для нас сторону жизни изнутри. На первом этаже – кухня, прихожая, огромная столовая и такая же гостиная с камином и с выходом на веранду и в сад, между ними раздвижная стенка, убрав которую можно превратить обе комнаты в одно обширное помещение. К гостиной примыкает еще кабинет. Наверху спальня и три комнаты «для гостей», а также туалеты и ванные комнаты. Внизу тоже есть эти заведения.

Есть еще полуподвал, где тоже имеются жилые уютные комнатки и помещения для котельной, кладовые, прачечная и другие хозяйственные помещения. Хозяин, с большим удовольствием и несколько тщеславясь, показывал нам весь свой дом. Жил он один со своей женой, увядшей и тощей датчанкой. Детей у них не было.

Мы все гадали – что им делать в таком огромном доме вдвоем? В некоторые комнаты они и ходят, наверное, не чаще раза в год, чтобы убрать там накопившуюся пыль.

Обед прошел в чопорной и унылой обстановке, хоть и был вкусен и обилен. Сахаров решил отметить это событие еще и самостоятельно. Он заказал большой стол в ресторане «Риц» и основательно подпоил всех нас датской тминной водкой

«Аквавита». Мы уже наслышались рассказов о некотором странном, весьма нежелательном действии этой водки на мужской организм, при длительном употреблении, разумеется, вследствие чего датчанки предпочитают иностранцев своим мужчинам. Посмеиваемся.

Так пошла размеренная жизнь на датской земле. Кончилось то время, когда каждый день приносил какую-нибудь неожиданную перемену, далеко не всегда сулившую благополучный исход. Здесь нам почти нечего было опасаться. Временами ночью окна сотрясались от взрыва. Это датчане подрывали друг друга: подпольщики, деятели движения сопротивления взрывали чье-нибудь предприятие – магазин, ресторан, мастерскую, а то и заводской цех, хозяин которого чем-то себя скомпрометировал в излишней услужливости перед немцами. Также по ночам иногда слышались и выстрелы. Это тоже датчане творили расправу над своими же. Но немцев они не трогали, хотя, конечно, могли бы пострелять их, как кроликов, из-за угла. Они понимали, что за немцев им несдобровать, немцы устроят резню и ликвидируют этот опереточный оккупационный режим, установленный ими для Дании. Поэтому мы не опасались со стороны датчан никаких действий, их так и не было до конца войны. Зато наш толстый Миллер пребывал в постоянном страхе.

Однажды осенним вечером сорок четвертого года, возвращаясь откуда-то вскоре после наступления темноты, я у дверей подъезда заметил двух людей с поднятыми воротниками пальто и надвинутыми на лоб шляпами. Вид их показался мне немного странным, держались они как-то несвободно, но я прошел мимо них спокойно и поднялся на второй этаж, в нашу квартиру. Мы занимали в этом большом пятиэтажном доме – «Гласхус» (так звали этот дом датчане) – большую восьмикомнатную квартиру, и у меня была просторная отдельная комната.

Едва я закрыл за собой входную дверь, как снизу раздались один за другим два очень громких выстрела, звук которых не был похож ни на винтовочный, ни на пистолетный выстрел известных мне марок пистолетов – уж очень он был громок. Я сейчас же связал эти выстрелы с теми двумя настораживающими фигурами, которые я видел внизу. Крикнув ребятам, я бросился вниз, думая, что кто-нибудь из наших подвергся нападению. На бегу вытащил свой «Вальтер» и снял его с предохранителя, следом за мной по ступенькам гремели наши ребята. Мы выбежали из парадного. На тротуаре, у самых ступенек низенького крыльца ничком лежал человек в гражданском. Шляпа скатилась с его головы и лежала в стороне, мы видели только открытую лысину и струйку крови,

только начавшую растекаться из-под головы по асфальту.

Выстрелы слышали, конечно, все, но из датчан, живших в этом доме, никто не только не спустился к нам вниз, не вышел на балконы, но даже не открылось ни одно окно, ничья голова не высунулась полюбопытствовать. Вероятно, все предпочитали наблюдать за происходящим из-за занавесок. Убийцы же скрылись немедленно, я вспомнил, что недалеко от крыльца стояла еще и легковая машина – ее теперь не было.

Нам самим пришлось вызывать полицию и дать им те сведения, которыми мы располагали. Жертвой оказался издатель и редактор одной датской пронемецкой газеты, живший в нашем подъезде на верхнем этаже. Его-то и караулили те два молодца в надвинутых шляпах.

Установили мы и причину такого необычно громкого звука выстрелов. На другое утро, осматривая место убийства, мы обнаружили в шиферном листе облицовочной панели крыльца дырку от пули очень большого диаметра. Когда смерили, то установили, что это была пуля из пистолета калибром 13 миллиметров. Такими пистолетами, по слухам, американцы вооружают своих десантников. Значит, и эти подпольщики были вооружены американскими пистолетами, стреляющими громко, как маленькая пушка.

Еще одна крупная диверсия была произведена по соседству. Той же осенью сорок четвертого года однажды ночью, часов в 2–3 пополуночи, я был подброшен на своей кровати мощным взрывом и затем услышал звон множества бьющихся стекол. Это окна нашего «Гласхуса» – «Стеклянного дома», громадные витринные стекла во всю стену, летели вниз и разбивались о тротуар. Мое окно было вдавлено взрывом внутрь и засыпало осколками всю комнату. В помещение ворвался холодный осенний воздух. Чертыхаясь и матерясь, мы все пооделись и повыскакивали наружу.

Облако пыли стояло над расположенным недалеко самым большим рестораном города «Феникс». Это его взорвали подпольщики за то, что он стал излюбленным местом, где собираются по вечерам немцы. Подкатили к одной из стен целую грузовую машину со взрывчаткой и рванули. Сделали это, когда никого в помещении не было, не только ни один немец, но и никто из датчан не пострадал физически, да и хозяин тоже, так как у него было все застраховано. А у ресторана только вывалили одну стену, и все, здание осталось цело – такие неумелые подрывники, вся сила взрыва пошла в разные стороны, в воздух, а не на дело. Впрочем, это виделось во многих акциях датских партизан – их интересовал не столько результат, как совершение

самой акции. Было что-то мальчишеское, какое-то несерьезное озорство во всех действиях, которые никакого существенного вреда оккупантам не приносили. Как тут было не вспомнить наших партизан, «лесных братьев», державших под своим контролем целые тыловые области, загнавших немцев на охраняемые пятачки, откуда они и нос высунуть боялись.

Да, европейское сопротивление, во всяком случае, в Дании – детская игра сравнительно с русской борьбой за свободу своей страны. Странное дело – эти сравнения у всех, с кем приходилось говорить, вызывали чувство гордости и удовольствия, радости за своих, за наших, и партизан ли, солдат ли, хотя ведь они, эти партизаны и советские солдаты, были нашими недавними противниками и по сути оставались нашими врагами.

Во время своих поездок по батальонам, которые я делал почти ежемесячно, посещая каждый раз два, а то и три батальона, я старался заводить как можно больше личных контактов с офицерами и солдатами, чтобы чувствовать, так сказать, пульс настроений.

Когда прошла первая пора новизны впечатлений, когда наши люди отъелись на датских харчах, перестали удивляться всему новому, что мы здесь видели – вступила в действие старая мудрость: не хлебом единым жив человек! Нужно было что-то делать, что заполнило бы душевную пустоту, внутреннюю опустошенность. Ни наша газета, ни наши доклады, речи и выступления, ни гастроли оркестров и групп самодеятельности, которые организовывали мы усиленно по батальонам, не заполняли эту пустоту. Самое большее, чего мы достигали, это – заполняли какую-то часть свободного времени наших людей, на короткие часы отвлекали их от невеселых и тяжелых раздумий о своей и общей нашей судьбе, о непоправимости сделанного выбора…

Все чаще и чаще слышалось о пьянстве. «Аквавит» – датская водка – был всем доступен. Сахар был также доступен – появились самогонщики. Русскому человеку не составляет труда наладить самогоноварение. Кто не мог или не хотел топить свою ностальгию в вине – терпел ее молча, страдая про себя, втайне. Некоторые не выдержали – стали учащаться самоубийства.

Один лейтенант, которого по его просьбе мы перевели из пропагандистов в строевые офицеры, через 2–3 месяца после этого перевода застрелился, сидя в саду на скамеечке со своей девочкой – датчанкой. Просто взял, достал пистолет и шлепнул себя в висок, на глазах у остолбеневшей от ужаса девчонки. Не подумал даже о том, в какое положение ставит свою подружку, ведь на ту обязательно упадет подозрение в убийстве – хорошо,

этого не произошло.

В другом батальоне, во время концерта оркестра, приехавшего от соседей, концерта, который давали в городском саду с летней эстрады, где присутствовало много и горожан, вдруг на сцену выбежал перед рампой пьяный старшина с двумя связанными немецкими гранатами и крикнул: «Прощай, братва, сейчас я рвану», – и рванул. Сам погиб, конечно, но были раненые и среди зрителей, особенно в первых рядах, где сидели, как почетные гости, жители городка, в котором был этот концерт.

Тяжело переносит русский человек разлуку с Родиной, особенно – насильственную разлуку. По самому себе я это ощущал очень остро, но вынужден был крепиться, не показывать вида. Слова, сказанные одной очень известной дамой нерусского происхождения: «Я отдам любое отечество за гостиницу без клопов», никак не применимы к нам, русским.

Один из батальонов, узнав, что ему из-под Острова придется уезжать куда-то на запад, в Европу, прихватил с собой целую русскую баню. Раскатали баню, загрузили платформу бревнами, кирпичами и камнями от каменки и привезли с собой в составе своего железнодорожного эшелона. Здесь, на датском берегу Северного моря, соорудили свою баньку, и каждый день там мылся какой-нибудь из взводов. Одна беда – берез для веников совсем не было, а захватить с собой сухих веников как-то не сообразили. Никто не думал, что в Европе с этим делом неразрешимая проблема!

Так шли дни за днями. Наши части стояли гарнизонами по укреплениям, построенным немцами на ютландском побережье Северного моря. Немецкий персонал был, в основном, технический – артиллеристы батарей тяжелых орудий береговой артиллерии, укрытых в глубоких казематах в недрах береговых скал, радисты, связисты, персонал по обслуживанию примитивных тогда радарных установок.

И здесь нам отведена была роль пушечного мяса. В случае высадки нашим солдатам из их окопов пришлось бы отражать вторжение, на их головы обрушился бы первый удар.

Но этого не случилось. Мир на датской земле в то время, как кругом в Европе все кипело и горело, прерывался лишь кратковременными и местными, почти игрушечными действиями местных групп сопротивления, не причинявших немцам никакого сколько-нибудь существенного вреда.

Так прошел год, и начался второй. За это время мне несколько раз пришлось съездить в Берлин с докладами о местной обстановке и за получением устных инструкций и указаний. Впервые пришлось отправиться уже через три недели

после приезда, и, прибыв утром в Берлин, на квартиру Сахарова, где я должен был остановиться, привезя для фрау Пагель увесистую посылку «от датских щедрот», уже вечером того же дня я попал под тот первый массированный налет на Берлин, который уничтожил центральную часть города.

Мы только что сели за стол, сервированный признательной хозяйкой, фрау Пагель, с помощью содержимого моих двух чемоданов.

Мы – это Жиленков со своим адъютантом Фрелихом, Кромиади, Ресслер и Ламздорф. Все съехались по моему приглашению.

Но уже перед тем, как садиться за стол, мы услышали «Аларм» – противный, тягучий и такой тревожный вой сирен, предупреждающий население о воздушной тревоге. Через несколько минут прибежала запыхавшаяся молодая девица, рассказавшая нам, что в ближайшем кино был прерван сеанс и было объявлено о необходимости всем укрыться в бомбоубежищах. К городу приближаются крупные соединения английской авиации.

Все посмеялись, уже не первый раз слышали такие предупреждения, я же новичок, если не считать большого налета советской авиации на Псков летом сорок третьего, когда удар был нанесен по вокзалу и немецкому аэродрому недалеко от вокзала, город же почти и не пострадал.

Едва успели мы выпить по первой рюмке коньяка, как над головами послышался шум самолетов и следом за ним взрывы бесчисленных тяжелых бомб, рушивших здания напротив и рядом с нами. Окна квартиры лопнули от взрывов, динамические воздушные волны побросали нас друг на друга, перевернули мебель в квартире, выпивка явно не удалась.

Три волны бомбардировщиков прошли над городом, и только удар первой пришелся на район, где была квартира Сахарова, но что это был за удар! Жиленков послал нас троих – Ламздорфа, Ресслера и меня на крышу тушить зажигалки, и с крыши шестиэтажного дома я увидел это море огня, полыхавшее над тем местом, где был центр Берлина. Но когда я увидел пустые провалы вместо домов, стоявших напротив и рядом, то ужаснулся и подумал – черт занес меня в этот проклятый Берлин! Ведь это чистый случай, что бомбы упали не на наш дом, а на соседние. Лежать бы нам сейчас там, под этими горами камней, как лежат сейчас там тела жильцов тех домов! Но и на нашей крыше ярким пламенем, разбрызгивая огненные капли, отчаянно воняя и дымя, горели зажигалки. Мы втроем быстро справились с полудюжиной зажигалок, еще и залив водой из бочек очаги начинающегося

пожара.

Своего адъютанта Фрелиха Жиленков отправил к своей молодой жене, сестре той особы, которая примчалась к нам из кино – обе они дочери русского эмигранта. Кромиади под еще не кончившейся бомбежкой обегал квартиры матери Сахарова и свою, находившиеся здесь же, неподалеку, а меня Жиленков заставил отвести домой нашу неудачливую гостью.

И только тут, по дороге, я увидел своими глазами масштабы и размеры удара, полученного германской столицей от своих противников.

Город горел. Идти по улицам было невозможно – дым, жар и прямые завалы от рухнувших домов то и дело преграждали дорогу. На тротуарах и на проезжей части валялось выброшенное взрывами из квартир имущество, попадались трупы. Спасаясь от огня и сыплющихся искр, мы должны были прихватить в одном месте по подушке и, прикрываясь ими, кое-как добрались до маленькой тесной площади, кажется, это была Нюренбергерплац, на которой горело несколько трамвайных вагонов. Но там же был и спуск в метро – неглубокое берлинское метро, «У-Бан», как говорят немцы. Там мы нашли спасение вместе с тысячами других берлинцев. Поезда не ходили, и по свободным туннелями толпы горожан из разбитого центра стремились выбраться в те районы города, которые еще уцелели в этот раз.

Пройдя около семи километров по туннелям, мы выбрались наконец на поверхность и пошли по широкой улице, дома на которой тоже, впрочем, горели. Толпа людей шла в том же направлении, что и мы, но такие же толпы шли к нам навстречу.

Это неверно, что я «выводил даму» из зоны пожарищ и разрушений. Совершенно не зная города и его порядков, я бы никак не мог этого сделать. Моя спутница уверенно и твердо вела меня по городу, не уставая при этом рассказывать мне о себе, о Сахарове, его семье, о Ламздорфе, о Кромиади. За эти несколько часов ночных скитаний по разрушенному Берлину я узнал от моей спутницы множество интереснейших подробностей, включая и такие интимности, как ожидание ею ребенка…

– От кого же? – вырвалось у меня.

– Да от Игоря, конечно! – ответила она.

Игорь – это Сахаров, вот оно, оказывается, что! Но Сахаров – убежденный холостяк, жениться он никак не собирается, и в душе мне стало жаль эту неосторожную девочку.

Между тем она вдруг остановилась и окликнула какую-то пожилую пару, понуро протащившуюся мимо нас с тележкой и каким-то скарбом на ней. Несколько минут она разговаривала с ними, я разглядел только в неверном свете пожарищ, что это

были невысокий пожилой господин и весьма почтенного вида очень немолодая дама, его жена, по-видимому. Я заметил, как этот человек показал на тележку со скарбом, сказал: «Это все, что у нас осталось…»

Распрощавшись со своими знакомыми, оставив их, моя спутница вернулась ко мне.

– Это генерал Бискунский с женой, главой русской эмиграции в Берлине. Их дом разбомбили, но не полностью. Все, что они успели вынести из горящей квартиры, у них на тележке. В основном, бумаги, архивы. Но, конечно, не все, а только часть. Остальное погибло.

Так, совершенно случайно, на улице горящего Берлина я встретился еще с одной «исторической личностью», бывшим царским генералом Бискунским, одним из известных деятелей белоэмиграции.

На другой день налет был повторен, но я глядел на него уже из безопасного далека. Сидя в Дабендорфе вместе с сотнями дабендорфцев, я глядел на зарево Берлина с расстояния 30–40 километров, на развешанные над городом «люстры», на перекрещивающиеся лучи прожекторов и взвивающиеся вверх разноцветные огни трассирующих зенитных снарядов. Вся феерия разворачивалась почти бесшумно, лишь иногда доходил до нас смягченный расстоянием, приглушенный гул разрывов бомб и зенитной канонады. Как это красиво издали, и какой это ад в действительности. Видя все это вблизи только сутки назад, я содрогался, представляя себе людей, находившихся сейчас там, в этом пекле, и в то же время думал – вот и дождались немцы настоящей войны у себя дома. Еще вчера утром я проезжал по улицам совершенно целого Берлина, ни одного разрушенного дома нигде не было видно, а теперь… За 24 часа два таких ужасных налета. Большая часть города перестала существовать, десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч остались без крова, без имущества. До сих пор немцы несли это другим, теперь они получили это все сами: «Что посеешь – то пожнешь!»

В Дабендорф я приехал с докладом – мне нужно было доложить положение дел в наших частях генералам Трухину и Жиленкову, а при удаче – и самому Власову. Визит к Жиленкову носил, собственно, чисто формальный характер, поскольку еще вчера, на квартире Сахарова, до налета я успел ему все рассказать, то есть приватным образом. Трухин принял меня вполне официально, но очень приветливо и дружественно. Он производил приятное впечатление своей интеллигентностью и общей образованностью. Его манера слушать также располагала к себе – он не перебивал, не теребил, не требовал военной

лаконичности.

Выслушав, он задал несколько вопросов. Прежде всего его интересовали наши взаимоотношения с немецкими штабами. Узнав, что у нас по этой линии все гладко и спокойно, он сказал:

– Это, конечно, заслуга Игоря Константиновича, то есть, значит, Сахарова. – Затем добавил: – Не везде так гладко. В Италии, правда, тоже спокойно, там фельдмаршал Кессельринг правильно понимает наше положение, а вот во Франции много трений у наших с немцами. Те смотрят на нас свысока, третируют наших пропагандистов и офицеров, придираются к нашей работе и нашей пропагандистской линии, требуют безусловного следования за немецкой пропагандой – прославление Рейха, фюрера, национал-социалистские бредни, даже антисемитизм.

Он был приятно удивлен, когда я сказал ему, что у нас немцы совершенно не суются в наши дела, полностью все предоставили нам «на откуп» и следят только, по-видимому, чтобы мы не занимались прямой просоветской, антинемецкой пропагандой. Тогда нас посадят. Я рассказал ему при этом о начальнике контрразведки гренадерской дивизии, при штабе которой находилась наша группа, лейтенанте Хемпфлере, из польских немцев, который явно окружил нас соглядатаями, но никакого прямого вмешательства в наши дела не делает и препятствий ни в чем не чинит. Мы всегда помним об этом наблюдении и не зарываемся.

Неожиданным был конец этого разговора. Перед тем, как отпустить меня, Трухин сказал следующее:

– Есть, поручик, одно дело, которое я могу высказать вам в виде устного и совершенно конфиденциального приказа. Заключается это дело вот в чем. Вы знаете, что среди нас, русских, довольно большое число людей замарало себя совершенно беспринципно, не службой даже, а прислуживанием немцам, при этом многие дошли до преступлений против собственного народа – разные начальники полиции, следователи, некоторые бургомистры и другие подхалимы и подпевалы. Немцы о таких своих прихвостнях проявляют трогательную заботу и теперь, уходя с оккупированных земель, уводят их с собой, чтобы куда-нибудь их пристроить, навязывают их нам, требуя, чтобы мы давали им офицерские должности в нашей системе. Мы сейчас не можем предъявить счет этим людям, потому что они находятся под опекой немцев, но придет время, и мы с них спросим – и пусть они отвечают перед народным судом за все, что они совершили под крылышком у немцев на родной земле. Вас я обязываю – в вашем поле зрения знать всех таких людей, не спускать с них глаз, наблюдать за их поведением – и быть с ними

предельно осторожным. Никаких списков не заводить, все сведения держите в голове, когда будет нужно – эти сведения нам понадобятся. Вот такое неожиданное поручение получил я на прощание от генерала Трухина!

Возвратившись в Данию и рассказывая об этом Сахарову, я снова удивился, когда тот совершенно спокойно сказал мне:

– Я это знаю. И мне дано такое же распоряжение. Для вас это имеет только значение, что служит доказательством, что вам доверяют.

Полковник Кромиади, к которому я подселился жить из разрушенной, с выбитыми окнами, сахаровской квартиры, устроил мне в тот же приезд и прием у самого Власова. Власов слушал меня мало, больше говорил сам, и говорил вполне откровенно, что опять послужило мне доказательством доверия, которым я пользуюсь, несомненно, по рекомендации Кромиади и Сахарова.

Он говорил о гнусном обмане, затеянном немцами, о том, что теперь, с переброской батальонов на Запад, сама идея Русского освободительного антибольшевистского движения получила сокрушительный удар от самих немцев же. Переброска же производится по прямому приказу Гитлера, которому наши недоброжелатели из высокопоставленных немцев напели о ненадежности русских частей на Восточном фронте. Были использованы случаи отдельных переходов на службу партизан, таких, как переход Гиля, развал РННА в Осинторфе, история с сахаровским батальоном в Пскове… При этих словах Власова у меня мелькнула мысль, что случись на месте немцев наше ОГПУ-НКВД, разве не связало бы оно в одно целое, что и в бригаде Гиля, и в сахаровском батальоне в Пскове пропагандой ведало одно и то же лицо? Обязательно связало бы, и ох как тесно в этом мире пришлось бы этому лицу в тщетных попытках доказать, что оно «не верблюд»!

Встав во весь свой двухметровый рост, значительно сильнее начав «окать», по-видимому, от волнения, Власов стал расхаживать по кабинету и с раздражением говорить о приказе Гитлера, фактически переводившем нас на положение простых наемников, ландскнехтов. Он говорил: «С этими наемниками я иметь дело не хочу. Это обман – назвать добровольцами людей, которые на самом деле только пушечное мясо для немцев. То, что русских сейчас заставляют воевать против американцев, англичан и французов, совершенно противоречит самой идее Русского Освободительного Движения. Русские добровольцы никогда не брали на себя обязательство служить немецким интересам, а взяли в руки оружие только для участия в освободительной

борьбе против Сталина и его клики. Я серьезно думаю о том, чтобы вернуться в лагерь военнопленных, но не участвовать больше в том, что явилось подлым немецким обманом».

Пораженный этими словами, страстным, исповедальным тоном, которым они произносились, я стоял, руки по швам, и поворачивался всем корпусом за ходившим генералом, задирая голову кверху, чтобы при моем маленьком росте смотреть ему в глаза, а не на пуговицы его кителя на животе. Одет он был в советскую генеральскую форму без погон, брюки с красными лампасами на выпуск, на носу – очки в толстой черной роговой оправе. Потом, немножко помолчав и несколько успокоившись, он сел за свой большой письменный стол, на котором ничего не было, предложил и мне также сесть и сказал под конец:

– Но вы, поручик, на своем месте продолжайте свою работу. Может быть, обстоятельства еще и переменятся в нашу пользу. Перевод на Запад, отрицательное явление само по себе, имеет все-таки и свои некоторые положительные стороны: наша живая военная сила на Западе лучше сохранится, и наши люди получат хорошую школу жизни, они увидят другой мир и лучше поймут правильность своего решения.

Так закончилась моя первая «аудиенция» у Власова. Еще раз через год, в декабре сорок четвертого, мне пришлось докладывать ему о положении дел, уже после организации Комитета Освобождения Народов России, затем весной сорок пятого несколько раз я оказывался в одном бункере с Власовым во время дневных налетов на Берлин американской авиации. Это было в предместье Берлина Даюмдорфе на улице Кибитцвег, 9, в доме, в котором помещалась канцелярия Власова и где был и его рабочий кабинет.

Для меня же после этих первых встреч с руководителями движения, Власовым и Трухиным, наступил полный разброд в голове. Что же все-таки делать нам, низовым работникам, непосредственным проводникам, через которых, так сказать, «идея идет в массы»? Пришлось снова идти к Жиленкову. Тот отличался, я уже заметил, большой способностью здраво мыслить и реалистически рассуждать. Он выслушал мои сомнения и рассеял их. Он сказал мне, что ему известно о настроении Власова, и был момент, когда он уже принял решение публично заявить о своем отказе играть роль вождя несуществующего движения.

– Но мы его переубедили, – сказал Жиленков. И, очевидно, прочитав в моих глазах вопрос, добавил: – Мы – это Малышкин, Трухин, Зыков и я. Мы сказали Андрею Андреевичу, что от немцев, от их руководства и нельзя было ждать ничего другого.

Все это в порядке вещей. Но не только ведь мы обмануты немцами – наши люди, их сотни тысяч, тоже обмануты немцами – и, выходит, нами тоже! Как же теперь их бросить на произвол судьбы? Пусть Русской Освободительной Армии не существует, но русские люди, которые верят в ее существование, есть, они живут, они воюют и верят в нас. Нам надо держаться до конца вместе с ними. А вам действительно надо продолжать делать свое дело, как вы делали его раньше. Только теперь нужно убедить людей, что переброска их на Запад есть временная мера, а задача освобождения Родины от большевизма остается в силе.

Я спросил Жиленкова по поводу так называемого второго открытого письма Власова по поводу этой переброски, опубликованного в «Доброволъце» – газете, которую Жиленков подписывал как главный редактор. В том письме говорилось, что переброска на Запад предпринимается для того, чтобы объединить мелкие воинские отряды и батальоны в полки и дивизии Освободительной Армии, потому что такое переформирование невозможно производить на Восточном фронте из-за растущего нажима красных. Будут ли на самом деле производиться такие формирования, и будет ли наконец командование сформированными силами передано Власову и русскому генералитету?

– Вот вопросы, которые волнуют каждого в наших батальонах. И что нам надо на них отвечать? – спросил я.

И Жиленков ответил, помолчав немного:

– Вам я скажу правду – Андрей Андреевич не только не писал этого письма, но и отказался подписывать его только потому, что немцы не выполнили ни одной его поправки и дополнения и отказались даже обсуждать вопрос о передаче командования. Все письмо составлено и написано немцами и напечатано за подписью Андрея Андреевича по их прямому приказанию. Конкретно – по приказанию Йодля, начальника штаба Сухопутных войск. Это письмо – очередная немецкая подлость в отношении нас, тем большая подлость, что мы стоим в совершенно безвыходном положении – нам ничего другого не остается делать, как проглотить эту очередную порцию гадости и делать наше дело именно в духе этого «Второго письма». Так и передайте Игорю. Впрочем, скоро я его самого вызову сюда. А сейчас спокойно поезжайте назад и успокойте людей. Да передайте Игорю, что мы здесь очень одобряем его намерение: издавать не информационный листок, как планируют немцы, а полноценную газету. Наши материалы, которые будете получать через курьеров, используйте по своему усмотрению, фильтруйте их по мере необходимости, оставляйте место для ваших собственных

материалов, заведите корреспондентов по батальонам, больше жизни дайте в газете. Официально, для немцев, называйте ее «военно-информационным бюллетенем», а по существу, по объему и содержанию пусть это будет настоящая газета. Это вы молодцы, оба с Игорем, а вот во Франции и Италии такой номер не пройдет, по-видимому. Ну, да посмотрим…

И с тем я покинул Берлин после первого служебного визита.

12

Это было просто удивительно, как текла наша жизнь в Дании в те последние месяцы сорок третьего и весь сорок четвертый. Где-то рушились фронты, создавались новые, началось вторжение в Европу, совершилось покушение на Гитлера – все это доходило до нас только как отголоски дальних бурь, как мертвая зыбь от бушующего где-то волнения. Накануне вторжения 5 июня 1944 года была объявлена тревога и полная боеготовность всех частей – нас, пропагандистского штаба это никак не коснулось. Через несколько дней, когда определилось, что вторжение производится через Францию, и эта тревога и боеготовность были отменены. Мы только как в театре, сидя в мягких бархатных креслах, наблюдали издалека за происходившими трагическими событиями. Когда через полтора месяца однорукий и одноглазый маленький полковник фон Штауфенберг взорвал свою неудачливую бомбу под Гитлером, волны террора, прокатывающиеся из конца в конец по всей Германии, докатились до нас в виде слабых всплесков: кто-то арестован из старших офицеров штаба командующего, потом сместили и самого командующего, в наших батальонах арестовали одного-двух офицеров неизвестно за что – они уже никак не могли иметь отношение к покушению на Гитлера. Еще был один очень странный арест. Весной 1944 года вдруг прибыла к нам необыкновенная особа – высокая, очень красивая молодая – лет 22–23 – девушка, русская, москвичка, из интеллигентной и ученой московской семьи с прекрасным знанием немецкого языка. Она рассказала, что была переводчицей в Красной Армии, но рано попала в плен, была доставлена в штаб командования групп Армий «Норд», представлена командующему фельдмаршалу фон Лесбу, тот проникся к ней «отеческими» чувствами и отправил ее в свое имение в Восточной Пруссии на попечение своей жены. Там она и жила в фельдмаршальском имении на положении воспитанницы и члена семьи фельдмаршала, жена которого отнеслась к ней так же хорошо, как и старый маршал. Сейчас, когда русские наступают уже на Восточную Пруссию, фельдмаршал оставил свое имение, вывез, что мог, в Германию, а ее отправил в «Самое тихое место» в Европе, т. е. к нам в Данию. Немцы сделали ее заведующей нашим домом отдыха в Эбельтасрте на берегу Каттегата.

Очень странное впечатление производила эта особа, несмотря на ее блестящие внешние данные, – красоту, молодость, физическое здоровье, статность и на ее образованность и

воспитанность. Было в ней что-то такое, что заставляло при ней все время быть настороже, не открываться перед ней полностью. Сахарова тогда уже не было у нас, остался один я за главного, и мне не с кем было посоветоваться, приходилось полагаться на самого себя.

И вот эта-то особа также была арестована во время серии арестов после покушения на Гитлера. Что это была за личность, с чем был связан ее арест, какова была ее судьба потом, мы так и не узнали никогда. Вообще, у немцев существовал тогда, в гитлеровские времена, прием убирать некоторых людей при таинственных обстоятельствах, чтобы потом никто не мог добраться до истинной сути дела.

Так был «убран» митрополит Сергий, правивший православной церковью в Прибалтике и на оккупированных областях России. В июле сорок четвертого его машина среди поля была остановлена другой машиной, оттуда выскочило несколько вооруженных автоматами людей и в считаные секунды изрешетили митрополита, его секретаря и шофера.

Осенью сорок четвертого командир печально знаменитой бригады РОНА, Бронислав Каминский, громивший восставших поляков среди руин пылающей Варшавы, был вызван немцами из Варшавы в Лодзь (Лицманштадт, как называли его немцы) – и никуда не приехал! Немцы сразу же объявили виновными польских партизан, те отказались считать устранение Каминского своей заслугой. Кто его убрал в действительности?

Той же осенью главный фактический редактор «Добровольца» и «Зари», один из главных власовских идеологов, по-видимому, никакой не Зыков и даже не русский, а еврей, вроде Гиля, был вызван из своего дома в Берлине неизвестными людьми, вышел к ним навстречу вместе со своим адъютантом и исчез бесследно! Опять – чья это работа? Мы тогда во всех тех случаях склонялись к тому, что это работа Гестапо, по-видимому, так это и было на самом деле. Только мотивы, по которым убирались все эти люди, были каждый раз разные.

Но наконец мы дождались действительно важного события и в нашей жизни, события, которое взволновало всех нас, до последнего солдата в батальонах.

Это было объявленное 14 ноября 1944 года сообщение о создании Комитета Освобождения Народов России и опубликование Манифеста этого Комитета.

Но радость от первого известия о том, что наше дело, которому мы служили уже три года подспудно, наконец объявлено во всеуслышание и мы признаны официально как полноправные союзники, тут же сменилась и первым

разочарованием – поздно! Уже все потеряно, и при том – безвозвратно! Уже и территориально ни одного клочка русской земли не осталось в нашем распоряжении, где мы могли бы открыто и свободно пропагандировать идеи, провозглашенные в Манифесте.

Правда, радовало, что наконец-то в таком основополагающем документе, именно Манифесте, Германия упоминается только один раз и без всякого пресмыкательства и унижения: «Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики».

Производило впечатление и отсутствие набившего оскомину в немецких документах грубого и откровенного антисемитизма, в неумеренных дозах всегда производящего отвратительное впечатление и достигающего совсем обратных результатов.

Негативная часть Манифеста ни у кого не вызвала особых возражений, но положительная его часть не могла не возбудить недоумений.

Уже в преамбуле документа содержался странный призыв: не вперед, а назад, т. е. к февралю 1917 года, к этой исторически достаточно скомпрометировавшей себя дате, звал Манифест – народы России вернуться и с этого момента начинать новую жизнь. Как возможно вычеркнуть исторический опыт четверти века, каким бы этот опыт ни был? Что-то не слышно было в истории, чтобы реставраторские лозунги могли увлечь за собой народные массы. Сразу возникало и сомнение – нашел ли бы отклик в сердцах и душах народа подобный Манифест, даже если бы он был опубликован в наиболее подходящий момент (три года тому назад). Пока же мы знаем твердо и однозначно – народ проголосовал штыком и пулей против тех, с чьей помощью этот Манифест мог родиться и на чью помощь он уповал и в дальнейшем. Это было весьма реальное возражение, и я боялся, что мне кто-нибудь его выскажет – что тогда мне отвечать? Как убедительно и доказательно опровергнуть такое сомнение? У меня самого оно уже возникло – так могу ли я доказать противоположное, прибегая к лжи перед самим собой? Возникали сомнения и по поводу других пунктов преамбулы.

«Большевики отняли у народов право на национальную независимость, развитие и самобытность», – говорилось в Манифесте. Но у нас в батальонах были и татары, и узбеки, и таджики, и белорусы, и представители кавказских народов. Они все прекрасно знали, что именно при советской власти они

получили и свою письменность, и свои газеты, литературу, возможность развивать свое собственное, национальное искусство. Единственное, что у них было «отнято» – это засилье местных религий, байства, ханов и кулаков. Эти «национальные формы развития» действительно были прикрыты советской властью, но призывы к их реставрации поднимут ли массы этих народов на борьбу против советской власти? Сомнительно. Надежда оставалась только на всеобщее недовольство сталинским террором, ударившим по всем без исключения народам России.

В позитивной части программы, объявленной в Манифесте, бросалось в глаза отсутствие чего бы то ни было нового по сравнению с программными положениями большевизма. В Манифесте перечислялись одно за другим все права, которыми и без того владели все граждане Советского Союза, только всякий раз добавлялось словечко «действительный»: «действительные права народов на национальное развитие», «действительное равноправие женщин…», «действительное право на бесплатное образование, медицинскую помощь и на отдых, на обеспечение старости…», «действительная свобода религии, совести, слова, собраний, печати».

Невольно напрашивался вопрос: за что же бороться, если все перечисленные в Манифесте права и так имеются у народов Советского Союза, и эти народы пользуются этими правами уже 27 лет? Можно ли поднять народ подобными бесполезными и пустозвонными призывами на борьбу против большевизма? И так ли уж большевизм «ненавистен» всему народу, как нам кажется и как утверждает этот Манифест через каждые несколько строчек?

Опять же реставраторский призыв восстановить частную собственность на землю и, по-видимому, на средства производства, т. е. восстановление частнокапиталистических форм общественной жизни кем-то будет принято, а кем-то и не будет! Это значит, что опять произойдет раскол в народе, опять нужно будет применять меры к приведению всех «к общему знаменателю», может быть, и насильственно. Это что же? Заранее предусмотренная возможность новых террористических кампаний на манер сталинских? Не довольно ли?

Так, переходя от сомнения к сомнению, не имея с кем поделиться этими сомнениями, я и тянул оставшиеся месяцы. Дело явно двигалось к скорой развязке. Истерические крики и угрозы немцев о каком-то мифическом чудовищном «новом оружии», «Vergeltungswaffe» – «оружии возмездия», которое якобы должно будет в ближайшие месяцы повернуть ход войны снова в пользу немцев, не внушали мне ни малейшего доверия. Я только удивлялся, как немцы в своей массе охотно верили этому обману.

После зимнего немецкого наступления в Арденнах, которое позорно провалилось, я окончательно убедился, что это «оружие возмездия» – чистейший блеф, потому что если бы оно готовилось, имелось и должно было обладать такой чудовищной силой, что могло обеспечить перелом в ходе войны – зачем тогда тратить последние силы на сомнительное наступление? Ясно, что в таком случае нужно было подождать, когда это оружие будет готово для введения в дело, пустить его в ход, добиться поворота событий в свою пользу и тогда использовать сохраненные резервы. Простой здравый смысл подсказывал подобный план действий.

Итак, надежд больше ни на что не было. В декабре сорок четвертого я еще раз был с докладами в Берлине, снова был принят Власовым, от которого опять услышал сетования на немцев, на этот раз в том смысле, что, несмотря на якобы официальное признание нас на правах союзников, формирование наших самостоятельных частей идет недопустимо медленно. Немцы, офицеры и чиновники получают по разным линиям подчиненности различные, обычно противоречащие и исключающие друг друга инструкции и указания. Если по одной линии будет получена инструкция «пущать», а по другой указание «не пущать», то выполняется в большинстве случаев второе. Большинство командиров немецких частей не хочет отдавать входящие в их состав русские батальоны. Национальные формирования не хотят подчиняться Комитету Освобождения. Из всех национальных комитетов и комитетиков только один калмыцкий в лице его председателя открыто заявил о своем присоединении к платформе Комитета Освобождения Народов России, объявив, что у калмыцкого народа нет своей истории, отдельной от истории России и ее народа, и что калмыцкий народ не видит свое существование и развитие вне России и отдельно от ее народа.

Все остальные же, тайно и даже явно подогреваемые немцами, рано одурели от националистического удара и, не понимая обстановки, упорно долбят свое: мы сами под водительством Великой Германии и ее фюрера Адольфа Гитлера добьемся собственного освобождения, поэтому присоединяться к Комитету Освобождения не будем. Даже казачий корпус, где во главе Совета стоит бывший и знаменитый в Гражданскую войну атаман Краснов, и тот заявил о своем неприсоединении к Комитету. «Дон – для казаков» – вот их лозунг.

– Помните, может, – сказал мне Власов, – в «Новом слове» (берлинская газета на русском языке, издававшаяся в Берлине при Гитлере, следовавшая линии немцев) Гестапу (это значит

Деспотули, редактор и издатель «Нового слова». Такое прозвище было дано ему эмигрантами) опубликовал статью зимой 1942 года, мне потом эту газету показали, – «Сибирь для сибиряков», так называлась та статья. Там доказывалось, что в Сибири появилась новая народность, отличная от русских, только усвоившая по исторической преемственности русский язык и некоторые формы быта, религии и культуры, а поэтому Сибирь в будущем должна быть объявлена самостоятельным государством. Вот и казаки придумали то же самое – на Дону-де образовался совсем особый народ, отличный от русского, только предками его были выходцы из России, а теперешние донцы, называющиеся казаками, это и не русские вовсе, – они тоже должны быть самостоятельны. Это все продиктовано страхом немцев перед национальной Россией, и это в то время, когда их действительно и беспощадно и не мифически, а совершенно реально бьет Россия красная. Удивительно, как все происходит. На советской стороне мне легче было сформировать дивизию, чем здесь – роту. И это при хваленой немецкой организованности и оперативности, – и он смачно, по-армейски выругался.

Уже не получая больше никаких напутствий от наших руководителей, я вернулся в Данию. Поезда двигались в основном уже только ночью. Днем мы отсиживались на маленьких неприметных станциешках, так как в воздухе безраздельно господствовала американо-английская авиация, устраивавшая погони за каждым двигающимся, мало-мальски значительным объектом.

Берлин я оставлял лежащим в руинах, следы огромных разрушений виднелись всюду. Уже ничего не осталось от тех картин немецкой ухоженности и прилизанности, которые еще виделись осенью сорок третьего, т. е. всего год назад. Контраст был разительный, понурый вид гражданских немцев говорил также весьма красноречиво. В Берлине на перроне U-Bahn и S-Bahn я видел когда-то, видимо, респектабельных, а теперь – обшарпанных господ, разгуливавших с длинными двухметровыми тонкими палками, с тонким острием, вроде шила, на конце. Этим острием они пронзали и доставали с полотна окурки, если им изредка удавалось их найти. За пачку, за полпачки сигарет можно было получить услуги любой приглянувшейся девчонки или дамочки – все курят, а курева нет, и всем хочется есть – а еда впроголодь. Конец Германии был отчетливо виден, и этот конец был не за горами.

Практически я свернул свою работу. Газета продолжала выходить, но исключительно на официальных материалах, привозимых нам еженедельно курьерами из Берлина, из

Дабендорфа. По батальонам я прекратил езду. Возобновил свои связи со знакомыми эмигрантами в Копенгагене. Сумел туда съездить сам из нашего северного городка Ольборга, вел с эмигрантами разговор начистоту о неизбежности прибегнуть к их помощи, когда начнется «шапочный разбор». Получил от них заверения о всей возможной помощи, которая будет в их силах.

В середине февраля, воспользовавшись приступом обострившейся старой болезни, лег в госпиталь на операцию, передав газету своему заместителю. Расчет был на то, что после операции проваляюсь месяца полтора, там конец приблизится, будет яснее, как поступать. Становилось очевидно, что следует думать не о нашем так называемом деле, а о сколько-нибудь достойном выходе из него.

Выйдя из госпиталя через месяц с небольшим, я вдруг тут же получил отзыв в Берлин, в штаб Власова. Явившись к полковнику Кромиади и поселившись у него на квартире на Кибитцевич 21, улице, где были размещены в двухэтажных коттеджах все основные власовские учреждения и квартиры главных деятелей, я узнал от него, что меня прочат на новую знаменательную должность – Начальника пропаганды Вспомогательных войск. Оказывается, по линии Внутреннего Фронта, которым командует сам Гитлер, глава всех органов и служб государственной безопасности Германии, получено разрешение формировать так называемые Вспомогательные войска в количестве пока не менее 100 тыс. человек из военнопленных и рабочих «OST», с которых так и не удалось добиться снятия унизительного значка, чтобы эти Вспомогательные войска были непосредственным резервом для разворачивающихся сейчас основных сил. Что же из себя представляют эти «основные» силы? С удивлением я узнал, что в общей сложности сейчас имеется не больше 2,5 дивизии, подчиненных непосредственно Власову, и то дислоцированных в разных местах, на юге Германии. Штаб находится в Берлине, «ставка главнокомандующего», т. е. самого генерала Власова, вообще где-то на колесах. Первая из сформированных дивизий – это бывшая бригада головорезов Каминского, в прошлом – банда вроде отрядов небезызвестного Махно. Она куролесила немало в Брянской области, потом в Белоруссии, оставляя за собой всюду кровавый след, а под конец отличилась особенными зверствами при участии в подавлении польского националистического восстания в Варшаве. Никогда эти «каминцы», так же как и «дружинники» Гиля, не считали себя «власовцами», а теперь немцы, как в насмешку, отдали их Власову для формирования первой дивизии. И вторая дивизия была собрана из всякого сброда, в том числе и многих бывших полицейских, но ни одного

линейного батальона из состава Вермахта Власову передано не было. А именно там, в линейных русских частях Вермахта, и содержался основной костяк убежденных власовских людей. Так шло формирование «основных» сил. Теперь все спохватились формировать Вспомогательные войска.

Больше недели я просидел в ожидании нового назначения. В это время на меня было произведено еще одно «покушение». Полковник Бочаров, бывший «Осинторфовец», часто вечерами заходивший к Кромиади, познакомившись со мной, вдруг захотел иметь меня помощником в своей миссии – Власов посылал его на переговоры в штаб Краснова, чтобы склонить казаков к «покорности», т. е. уговорить их сделать официальное заявление о присоединении к Комитету и признании его Манифеста. Бочарову не хотелось ехать одному, и он приглядел меня к себе в состав «делегации». Он собрался уже идти к Власову просить моего назначения, но на это его намерение наложил «вето» Кромиади, сказав: «Поручика Самутина с вами никуда отсюда не пустим». Через несколько дней мне вручили выписку из приказа Власова о присвоении мне очередного звания – капитана РОА и о назначении на новую должность – начальника Отдела пропаганды штаба Вспомогательных войск. Я поступал под начало начальника этого штаба – старенького и серенького полковника Антонова, совершенно безынициативного и бездеятельного человека лет шестидесяти. Тому явно было все равно, он понимал бесполезность и бессмысленность всех предпринимавшихся усилий и ничего не делал по своей линии. Я на минуту было загорелся, вспыхнул на новом поле деятельности и быстро сколотил себе из резерва группу человек 8-10 из газетчиков, литераторов и просто наделенных организаторскими способностями людей, но мы тут же и встали в тупик – а что же делать дальше? Штаб вспомогательных войск – есть, один из отделов этого штаба – отдел пропаганды – тоже есть, а вот где войска? Войск-то не было… Времени уже не оставалось для разрешения этой неразрешимой задачи!

6 апреля полковник Кромиади заявляет мне – сегодня вечером с канцелярией мы уезжаем из Берлина на юг Германии, собирайтесь и едемте со мной. Я отказался – как я могу бросить начатое дело и без приказа уехать – ведь я военный человек. У Кромиади не было возможности получить новый приказ, и он со вздохом уехал. Я остался в Берлине, который постепенно пустел.

Двенадцатого утром вдруг меня вызывают в Отдел разведки и контрразведки, которым заправлял некто Тензоров, по слухам – какой-то московский доцент математики, фамилия явно не своя, псевдоним. Человек угрюмой и мрачной внешности. В кабинете

Тензорова я застал десятка полтора-два офицеров разных рангов, так же как и я, вызванных неожиданно для всех. Тензоров сидел за столом, уткнувшись в бумаги, и только проверял по списку приходивших вызванных.

Когда все собрались – я один из последних, – Тензоров объявил:

– Вот в чем дело, господа. Ни для кого из вас не секрет, что до конца войны остались считаные недели, если не дни. Каким будет этот конец, мне тоже вам объяснять не требуется. Нам остается исполнить последний долг перед тысячами и тысячами наших русских людей, которые два или три года верили нам. Их ждет печальная судьба. Союзники, если будут брать их в плен, обязательно сочтут их предателями и изменниками и будут выдавать их на советскую сторону, как и случилось уже со многими нашими людьми из батальонов героически сопротивлявшихся вторжению союзников в Бретани, во Франции. Взятые союзниками, главным образом американцами, эти люди уже выданы ими на расправу Сталину. Какая их ждет судьба – опять-таки рассказывать не нужно, вы знаете. Так вот, нужно сделать попытку спасти от выдачи возможно большее число наших людей, нужно сохранить живую силу, сохранить проверенные антисоветски настроенные кадры военных, офицеров и солдат от выдачи союзниками этих людей нашим врагам – Сталину и его слугам. Для этого есть только один возможный – не абсолютный, а возможный, – путь, это – немедленный переход наших войск на сторону союзников при первом же боевом соприкосновении с ними, переход, связанный, возможно, с необходимостью преодоления – вооруженного преодоления, – сопротивления немцев, если те вздумают препятствовать. Это – приказ. Мы собрали здесь всех тех, кто имел в прошлом непосредственные личные контакты с частями, расположенными в разных частях Европы.

Завтра, не позднее послезавтра вам всем надлежит разъехаться по частям, в которых вы были раньше, где вас хорошо знают и вам доверяют, и оставаться в этих частях до конца вместе с ними, и когда вы сочтете по обстановке необходимым, ознакомьте русских командиров этих частей с этим приказом, подписанным генералом Трухиным.

Он достал из ящика стола пачку тоненьких листочков и по верхнему листочку зачитал текст приказа, смысл и содержание которого он нам только что рассказал. Все экземпляры приказа были напечатаны на машинке на кусках белого парашютного шелка.

– Эти приказы вы зашьете под подкладку ваших фуражек, и

они останутся совершенно незаметными, даже если вас немцы вздумают обыскать. Документы на проезд к своим частям, включая и документы для поездки за границу, вы получите в нашей канцелярии сегодня же.

И далее он стал называть места, кто куда из нас должен выехать. Таким образом, неожиданно мне опять оказалась дорога в Данию, только я сначала должен буду явиться в Копенгаген, куда переместился за это время штаб командования немецких войск в Дании, и там получить командировочное предписание для явки в батальоны.

Несколько ошарашенный новым неожиданным поворотом в своей судьбе, я вернулся в опустевшую квартиру Кромиади, где я оставался один, и увидел у дома незнакомую легковую машину, недоумевая, кто еще мог приехать к нам на машине. Кроме хозяйки дома и меня, никого в доме не было. Для завершения всех сюрпризов этого дня, войдя в комнаты на втором этаже, я увидел Сахарова! Мы не виделись почти год, он сильно похудел за это время, но был все тем же. Мы обнялись.

– Собирайся немедленно, я специально за тобой заехал, сделал большой крюк. Мой полк (у Сахарова уже был «свой» полк, с которым он в феврале отличился в какой-то лихой атаке на Кистринском укреплении, заработав на этой операции Железный крест и будучи упомянут в сводке Верхового Главнокомандующего) обходит Берлин с запада, мы двигаемся на юг, собирайся быстро, едем со мной, – настойчиво повторил он.

– Не могу, Игорь, вот смотри, – и я протянул ему шелковый лоскуточек, который еще лежал у меня в кармане.

Сахаров прочитал и присвистнул:

– Вот это да… Ну знаешь, если бы это не касалось наших людей в Дании, я все равно тебя бы умыкнул, но тут я бессилен. В отношении тех людей, которым мы с тобой вдвоем вместе морочили голову, надо сделать все возможное, чтобы их спасти. Я тебе завидую!

– Что я еду в королевскую Данию? – спросил я.

– Дурень! Что ты едешь поднимать этих людей против немцев! Эх, с каким бы удовольствием я это сделал, прямо с наслаждением. Ну, в таком случае обнимемся еще разок, и прощай, увидимся ли еще – кто знает? Будь удачлив!

– К черту! – сказал я. Мне было очень грустно.

Мы сердечно распрощались, и он уехал, и больше я о Сахарове ничего не слышал, кроме нескольких ругательных материалов в советской печати, касавшихся его прошлых дел в военное время. Вероятно, так и не узнаю его судьбу, самому уже немного жить осталось.

Вечером 14 апреля я выехал из Берлина в Данию.

13

Имение «Роогор» – «Сырой Двор» располагалось в южной части острова Амагер. Северную часть острова занимал главный датский аэропорт Каструп и кварталы южных окраин столицы Дании – Копенгагена.

«Роогор» – одно из имений разбогатевшего копенгагенского зубного врача. У него была стоматологическая клиника и несколько имений, которые он купил для помещения капитала. Этакий датский «Ионыч», даже и внешне чем-то походивший на своего русского литературного прототипа.

Вот уже месяц, как я работаю в этом имении, куда устроили меня друзья-белоэмигранты, спасая от выдачи англичанам. Они же выправили мне фиктивные документы – что-то вроде удостоверения личности для перемещенного лица польской национальности по имени Леон Пшехоцкий.

Фамилию я придумал сам, собственно, не придумал даже, так как думать было некогда, надо было сразу назвать какую-то польскую фамилию при заполнении документа. У меня и выскочила в памяти фамилия «Пшехоцкий», а потом я долго и трудно вспоминал, откуда у меня засела в голове эта дурацкая фамилия? Только спустя года два вспомнил, что это же фамилия персонажа чеховской «Драмы на охоте»…

В этом же удостоверении было написано, что я – «хлоп», т. е. крестьянин, землепашец. В качестве такового я и был принят датчанином – управляющим имением «Роогор» на работу батраком. Управляющий был дальним родственником одного из моих друзей-эмигрантов и был посвящен в тайну моего происхождения, но был от природы мизантропичен, сосредоточен на своем и в чужие дела не вмешивался, поэтому мне в «Роогоре» жилось спокойно.

Самого слова «батрак» в нашем понимании этой социальной категории в Дании не существует. Наемные сельскохозяйственные рабочие там называются «ландсарбейдер», и это понятие совершенно не имеет того уничижительного и даже как бы позорящего смысла, который мы привыкли вкладывать в слова «батрак», «батрачить». Быть ландсарбейдером в Дании совсем не означает для человека пребывать на низшей ступеньке социальной лестницы, как бывало у нас когда-то. Но мое положение все-таки чем-то было сходным с положением батрака в русском понимании этого слова.

Кроме меня, там было еще несколько рабочих-датчан. Двое жили, как и я, тут же, в имении, остальные приезжали на автобусе

из Копенгагена, в том числе и один, называвший себя коммунистом. Но именно мне поручалась самая неквалифицированная и грязная работа, хотя сами рабочие-датчане не подразделяют работу на грязную и чистую и относятся одинаково ко всякому делу, которое им приходится исполнять. Я ни разу не слышал от них жалоб на то, что кому-то досталась работа не та, которую хотелось бы делать. И все-таки наименее привлекательные занятия всегда доставались мне. В круг моих постоянных обязанностей, например, входила чистка конюшни с четырьмя лошадьми, коровника, свинарника – десять свиней – и дойка шести коров два раза каждый день. Машинная дойка не применялась в имении, и ручным доением мне пришлось волей-неволей овладевать в короткий срок. В Дании дойка считается тяжелой работой – а это так и есть! – и ею занимаются мужчины. Женщины коров не доят… И весь уход за скотом тоже только мужское дело, женщины занимаются птицей, уходом за молодняком животных – телятами, поросятами, и то лишь в самом нежном возрасте, до нескольких недель. Платили мне меньше, чем датчанам, примерно 3/4 суммы, причитавшейся датчанину за ту же работу. Не пример ли это был расово-социальной капиталистической эксплуатации и дискриминации? Еще какой! Но мне до этого было мало дела, такая «дискриминация» меня ничуть не волновала. Главное, что я имел, – это спасение от опасности выдачи, возможность «пересидеть» эту опасность. Кроме этой возможности я имел еще условия, вполне достойные для жизни человека в цивилизованном обществе. У меня была отдельная, очень прилично меблированная комната, постель с еженедельно обновлявшимся бельем, прекрасное четырехразовое питание вместе с семьей управляющего и еще, кроме того, 280 крон каждый месяц. И это при датских-то послевоенных ценах, когда мужские туфли стоили, например, 25 крон, а наилучший костюм – как говорили датчане, дипломат-костюм – стоил 180 крон. Мне, батраку, дискриминируемому иностранцу, ничего не стоило купить такой дипломат-костюм! Мог ли я еще быть недовольным какой-то «несправедливостью»? Грех даже и говорить об этом…

Обращение мое в новое социальное качество произошло в эти апрельско-майские дни со всей стремительностью той незабываемой весны.

Поздно вечером 14 апреля, за несколько часов до начала последнего, генерального наступления советских войск на Берлин, я выехал из этого поверженного и уже обреченного города и направился в Данию с секретным поручением передать тайный власовский приказ командирам русских батальонов и

украинского полка при первом же контакте с войсками союзников поднимать восстание против немцев и с оружием переходить на сторону союзников, чтобы оказаться на положении не военнопленных, а интернированных. Это давало надежду не быть выданными союзниками насильно в руки советского командования оккупационными войсками.

Без особых приключений я добрался до Копенгагена. Там, оформившись в немецкой комендатуре, направился к месту сосредоточения – на западном побережье полуострова Ютландия – наших семи батальонов и украинского полка. До марта 1945 года все русские части были разбросаны по довольно удаленным друг от друга участкам датского побережья, но перед самым концом войны немцы для чего-то собрали всех в один кулак, в непосредственном тылу укреплений на побережье между заливами Ниссум-Фиорд и Ниссум-Брединг. Для меня это оказалось весьма удобным. Сняв номер в единственной гостинице маленького прибрежного городка Лемви, я получил возможность каждый день бывать в двух, а то и трех батальонах.

Объехав батальоны, сообщив о приказе, я имел основание быть довольным успехом своей миссии, если в те дни можно было испытывать удовольствие от чего бы то ни было.

Тревожил меня украинский полк, которым командовал мало знакомый мне коренастый, краснолицый подполковник Алексеенко. Украинцы не признавали ни власовского движения, ни нашего «вождя», генерала Власова, ни нас самих – они были приверженцами «Великой самостийной Украины», которую, по их мнению, создаст им после разгрома москалей фюрер Адольф Гитлер. Я ожидал плохого приема и националистического афронта со стороны Алексеенко. К полному своему удивлению, я не встретил ни того ни другого.

Украинский полк оказался состоящим из таких же русско-советских парней, как и наши батальоны, только на рукавах мундиров у них были нашиты украинские эмблемы в виде трезубца, а подполковник Алексеенко походил на типичного командира Красной Армии, каких и у нас было сколько угодно, в любой из наших частей. Немудрено, что с подполковником Алексеенко я столковался быстро. Мы говорили на одном языке и понимали один другого с полуслова. Мое появление с таким неожиданным приказом было воспринято подполковником очень доброжелательно. Меня не арестовали, не выдали немцам, как изменника и английского шпиона, чего я, говоря откровенно, несколько опасался, а наоборот, очень дружески встретили.

Конечно, не обошлось без выпивки и солидного закусона. Подполковник, тяпнув по православному чину пару хороших

стопок аквавита, сказал мне, что он выдаст немцам полной мерой за все, что накопилось, при первой же встрече с англичанами, когда те начнут наступление на немецкие войска в Дании.

Миссия моя была выполнена, и мне оставалось только ждать развития событий. Сидя в своем номере гостиницы, я следил по радио, как идет наступление Советской армии на Берлин и за медленным продвижением союзников по Германии на восток. Была в их действиях какая-то раздражающая вялая медлительность, уже начинало казаться, что они совсем не собираются поворачивать на Данию. Что же будет, если война так и кончится в Европе, не задев Данию? Как сложится наша судьба? С этими вопросами ко мне приходили люди из батальонов, но что я им мог сказать?

Так пролетели те дни конца апреля. Покончил самоубийством Гитлер, пал Берлин, объявилось новое, но какое-то ненастоящее немецкое правительство во главе с гросс-адмиралом Денитцем – но наша судьба так и не прояснялась.

Но наконец свершилось и это. В ночь с 4 на 5 мая командование немецких войск в Дании объявило о своей капитуляции. Мы узнали об этом тут же, ночью, вскоре после полуночи, и не от немцев, не из сообщений радио, а по неистовым радостным крикам, пению и стрельбе, вдруг взорвавшимся на улицах обычно тихого и сонного датского городка. Датчане с минуты на минуту ждали такого сообщения, не отходили от своих радиоприемников и первыми приняли сообщение англичан, направленное непосредственно на Данию, о том, что «датские» немцы капитулировали…

Стрельбу в воздух подняли, разумеется, участники подпольного движения Сопротивления, впервые за годы войны вышедшие открыто со своим разнокалиберным оружием на улицы городов. На левых рукавах у них были бело-красные повязки – национальные датские цвета – в доказательство их принадлежности к сопротивлению. Они ходили героями, многие пытались придираться к немцам, но те сидели запершись в расположении своих частей, ощетинившись, на всякий случай, оружием. Однако в целой своей массе незлобивые и добродушные датчане и не думали о какой-то серьезной «мести» немцам, они понимали, что через несколько дней те и сами уйдут, и были безмерно рады концу войны, концу ненавистной оккупации и очень скоро обратили свою жажду возмездия на своих, коллаборационистов всех мастей и рангов.

Началась немедленная охота за всеми, кто так или иначе сотрудничал с немцами и работал на них, или, не дай бог, служил у них. Крохотные местные тюрьмы оказались переполненными в

тот же день, даже в большой центральной копенгагенской тюрьме в одиночные камеры помещали по четыре человека и более.

Но самая необычная кара постигла особую, пожалуй, наиболее многочисленную категорию изменников, вернее – изменниц…

Датские девчонки («пийге» по-датски) оказались плохими патриотками и плевать хотели на войну, политику и всякие другие высокие материи. Они хотели жить, веселиться и не отказывать себе в естественных земных радостях. Множество их путалось с немцами открыто, у всех на виду, не прячась и ничуть не стесняясь. Все они были отлично известны населению тех мест, где располагались гарнизоны – и наши батальоны тоже! Вот за это-то на их головы и опустилась карающая длань народного возмездия! Именно на головы – в буквальном смысле.

Всех таких «пийге» в самом Лемви и его окрестностях выловили уже в первые часы 5 мая и к середине дня согнали на главную площадь перед ратушей, оцепили эту буйно сопротивляющуюся толпу добровольцами из участников Сопротивления, притащили на площадь несколько десятков стульев из ближайших кафе и ресторанчиков и принялись овечьими ножницами кромсать пышные девичьи кудри! Невзирая на визг и вопли упиравшихся и царапавшихся девчонок, их в одно мгновение, как овец, обстригали под дружный хохот, свист и насмешки собравшейся толпы горожан, восхищенных редким зрелищем. Обстриженных девиц, плачущих и размазывающих слезы по физиономиям, шлепком пониже пышных спин выталкивали за пределы ограждения и, провожаемых двусмысленными шуточками и улюлюканием толпы, отпускали по домам. Страшная казнь!

Через 2–3 часа экзекуция кончилась, стулья унесли, толпа разошлась, и из окна своего номера в гостинице, выходившего на площадь, я видел только серые плиты древней мостовой, усеянные бесчисленными пучками девичьих волос, развеваемых ветром то в один, то в другой край площади.

Капитуляция прошла спокойно. Только в одном из наших батальонов подвыпившие ребята не сдержались и шарахнули несколько залпов по расположенной неподалеку немецкой части. Немцы на огонь не ответили, и инцидента не произошло, наши умолкли сами. Так и остался приказ, привезенный мною, невыполненным – некому было нас интернировать. Англичане приказали немецкому командованию пешим маршем выводить все войска, включая и наши батальоны, с территории Дании на территорию Шлезвиг-Гольштейна для разоружения и расформирования. Мне не оставалось ничего больше, как

переодеться в штатское и отправиться к моим друзьям в Копенгаген.

У трапа на паром, переправлявший поезд Орхус – Копенгаген через пролив Большой Белт, стояли участники Сопротивления со своими красно-белыми повязками и проверяли документы у всех пассажиров. Вид и повадки у этих парней были далеко не такими лопушистыми, как у тех, с которыми мне пришлось встречаться на протяжении двух суток, пока я добирался до Нюрборга, от причала которого отправлялся паром. Одну ночь перед тем я ночевал в Тистеде, в гостинице, где часто останавливался раньше и с хозяином которой не раз пропускал по рюмочке экстра-аквавита. Он и взял меня под защиту от наскочивших парней из Сопротивления. В поезде я сам два раза отговорился от таких же проверяльщиков, но здесь, похоже, дело было поставлено посерьезнее.

Как быть? Ведь не покажешь же им «Зольдбух», или еще того хуже – «Аусвайсс» из бригады Гиля, все еще хранимый мною как память о той незабываемой поре! Теперь этот документ сыграл бы совсем скверную роль. Я живо представил себе, какой бы поднялся крик и беготня тут, у трапа на паром, если бы эти ребята увидели хоть один из этих документов – поймали переодетого «тюска» (немца», наверняка «кригсфербрехера») – военного преступника!

В критические минуты голова работает быстро. Что, если показать им старый советский паспорт, который чудом уцелел у меня во всех бесчисленных передрягах, оставшихся позади? Они ничего не разберут в нем, но там есть моя фотография и советский герб на печати и водяных знаках – гербу с серпом и молотом они, конечно же, поверят! Все советское сейчас в фаворе, а я скажу им, что я – русский, советский, еду в Копенгаген установить связь с советской миссией, которая должна прибыть на днях в столицу.

Но вот беда. Вспоминаю, что паспорт-то лежит на дне одного из чемоданов, а там сверху лежат совершенно компрометирующие вещи: сверху немецкая форма, сапоги, оружие (три пистолета, патроны к ним), подшивки нашей газеты.

Пришлось выйти из очереди, найти укромное местечко и, приоткрыв крышку чемодана, нашарить на дне спасительный советский паспорт.

Все удалось, как надо. Паспорт я достал, не вызвав ни у кого подозрения. Датчане не подозрительны. Добродушие и простодушие – преобладающие черты их народного характера, а в те дни всеобщего ликования и радости они тем не менее были склонны к повышенной бдительности. Я ожидал, что меня таки

задержат и мне придется объяснять значение моего паспорта и доказывать его подлинность. Но все было по-другому!

Едва я сказал по-английски (не по-немецки! только не по-немецки!), что я – советский русский, и подал им свой паспорт, указав пальцем на печать с гербом, как все проверяльщики бросили остальных пассажиров, сгрудились вокруг меня и с возгласами радостного удивления принялись хватать меня за руки, жать их, хлопать меня по плечам, по спине – обнимать мужчин у них не принято – и громко, возбужденно кричать что-то приветственное, я и не разобрал всего, что они мне тогда наговорили. Потом тут же отдали мне назад мою паспортину, двое дюжих молодцов похватали мои тяжелые чемоданы и поволокли их по трапу на паром, крича мне, чтобы я не отставал. Оставшиеся у трапа еще кричали мне вслед какие-то доброжелательные слова напутствий, и вот таким совершенно триумфальным образом, на удивление окружавших датчан, я был доставлен наверх в помещение 1-го класса. Ребята, притащившие мой багаж, еще долго трясли мне руки и опять хлопали по плечам, и все лопотали что-то радостное и приветственное.

Паром отправился, а я вышел на палубу, на морской ветер, чтобы немного остыть и успокоиться от пережитого волнения и возбуждения. Все смешалось у меня в голове и в сердце. И радостно было, что вот опять, в критическую минуту, нашелся и удачно избежал опасности, и горько в то же время… Горько от сознания, что вот досталось мне то, что совсем мне не принадлежало. Совсем наоборот, заслужил я вовсе противоположное. Если бы только эти милые ребята знали, кому они только что наговорили столько любезностей и благодарностей, что они несли в этих чемоданах, кого они в 1-й класс устраивали!

Я ходил и ходил по палубе, стараясь не встречаться глазами с датчанами-пассажирами, чтобы избежать их словоохотливости, и медленно, медленно приходил в себя…

С середины мая я уже батрачил в имении «Роогор». Бродя по огромному полю, засеянному цветной капустой, выращиваемой на семена, я передвигал длинные трубы оросительной системы, которые надо было включать в 4 часа утра, и думал, думал, думал…

Теперь ничего другого и не оставалось, сама жизнь выдвигала требование: пришла пора подводить итоги. А итоги были куда как невелики. Я остался не только без Родины, без друзей, без профессии, пригодной в этих условиях, без будущего и даже без своего имени. Никогда не думал, что это так мучительно – скрываться под чужим обличьем, откликаться на чужое имя. Даже

своей национальной принадлежности я теперь лишился.

И ради чего? Теперь, когда все кончилось, все встало на свои места и вместе с тем все прояснилось, с беспощадной очевидностью открывалась мне на том пустынном по утрам датском поле вся глубина моего собственного падения и падения тысяч таких же, как я, незадачников. Что мы наделали, безумцы? Во имя чего, во имя какой идеи изменили Родине, своим соотечественникам, пошли служить врагам своей страны и своего народа? Что мы смогли предложить ему взамен того, что он имел и что мы все имели вместе с ним?

Вечерами в своей комнате я доставал свои бумаги и раз за разом перечитывал тот документ, единственный программный документ, который смогло родить наше «движение», пресловутый Манифест Комитета, возглавленного Власовым. Пустота, бессмысленность и демагогическая трепотня этой бумаги, прокламирующей все эти «действительные» свободы, открывалась все с большей и беспощадной ясностью. Одна за другой картины недавнего прошлого проходили перед памятью в те безмолвные утренние часы на поле. Сколько раз за эти четыре года приходилось рисковать жизнью, становиться на самый край пропасти – все оказалось во имя лжи, неправды, прямой и примитивной измены. И мне еще повезло, крупно повезло – я уцелел. А скольким не повезло? Скольким так и пришлось бесполезно и бесславно погибнуть? И еще скольким суждено, как мне вот теперь, влачить жалкое существование изгнанника, страшащегося уже не только людей, но самого себя, вынужденного скрывать от людей даже свое имя.

И опять вспоминалась мне сцена у трапа на пароме. Как восторженно приветствовали меня датчане, когда я назвался советским русским, сколько в этих приветствиях было уважения и признательности к той стране, которую я оставил, к тем людям, которым я изменил, а теперь вот, спасаясь, незаконно примазался! Этот последний, в общем-то пустяковый обман почему-то особенно терзал мою совесть…